И. БЕРЕЗАРК

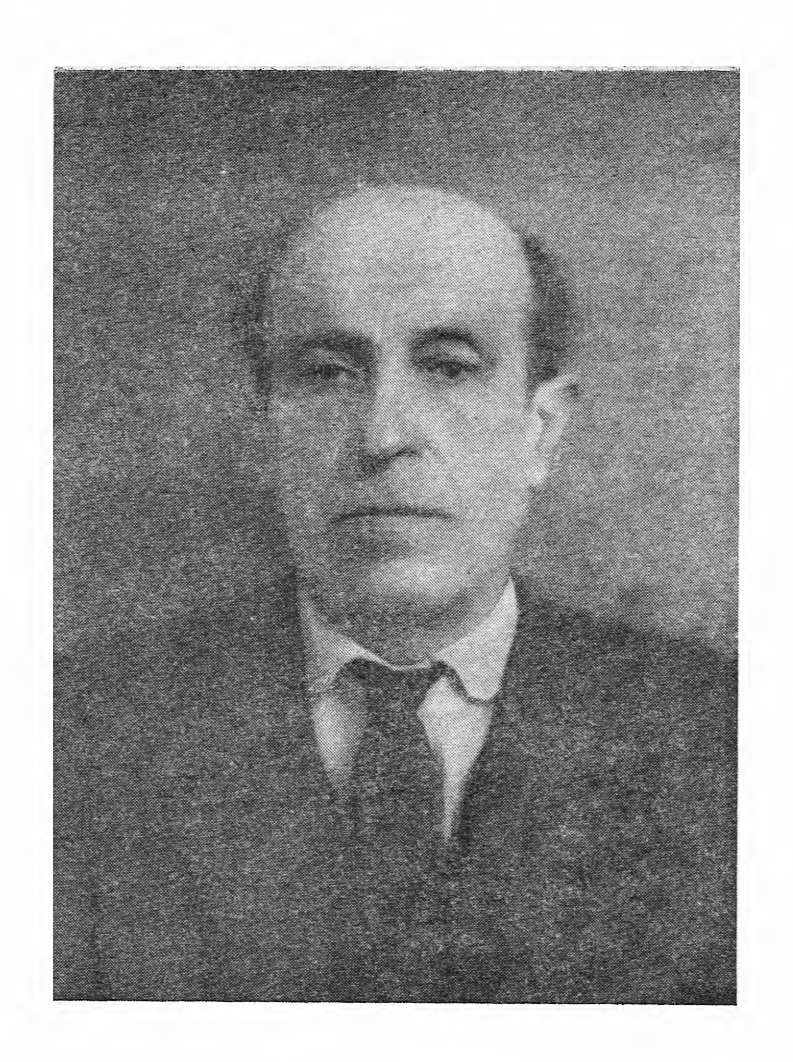
ШТРИХИ
и встречи

И. БЕРЕЗАРК · ШТРИХИ И ВСТРЕЧИ

И · БЕРЕЗАРК

ШТРИХИ

и встречи



И · БЕРЕЗАРК



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1982

Р2
Б 48

В книгу Ильи Борисовича Березарка (1897—1981), которую он закончил незадолго до смерти, вошли повесть о детстве и ранней юности «В самом начале века» и цикл очерков и рассказов, объединенных названием «Память рассказывает», — о деятелях литературы и искусства, с которыми автор встречался за свою долгую жизнь. В книгу вошли очерки о Горьком, Луначарском, Станиславском, Есенине, Маяковском, Фадееве, В. Ставском, Лапине и Хацревине, Олеше, Афиногенове, Лавреневе, Зощенко, Антоне Шварце, Евгении Шварце, Соллертинском и других.

Художник *Алевтина Третьякова*

Б $\frac{4702010200-320}{083(02)-82}$ 11—82

Илья Борисович Березарк, один из старейших литераторов Ленинграда, уже не увидит этой своей книги. Она оказалась для него последней, но он отдал ей всю свою сознательную жизнь служения литературе и искусству.

Его молодость совпала с молодостью революции, и все ее страсти естественно задели его душу, оставив на ней свои несмывающиеся отпечатки. А душа у него была впечатлительная, и время не жалело для нее встреч и столкновений, споров и дружб с прекрасными талантами строителей нового духовного мира.

Она, как это и подобает душе художника, всегда была в гуще событий, на их гребне. Она волновалась волнением времени, отдаваясь целиком необоримому движению революции.

Ей было чуждо равнодушие, потому что она была творческой душой, и она осталась гордой памятью времени, и на заглавной странице этой кни-

ги памяти можно написать: «Сим свидетельствую» — и это будет правдой.

Илья Борисович Березарк, начав свой долгий литературный путь с поэтического сборника, так на все время в своей критике и журналистике и остался немного поэтом, человеком, приверженным к высокой мысли и точному слову.

И эта книга его воспоминаний, книга завидной памяти и судьбы, книга, наполненная встречами жизни, займет достойное место в живом потоке запечатляющих время свидетельств. В ней есть воздух времени, и душа автора не случайна в этом времени своим присутствием.

М. Дудин

ПАМЯТЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ОТ АВТОРА

Это серия очерков о встречах и беседах автора этих строк с выдающимися деятелями литературы и искусства. Я не ставил своей задачей создание законченного портрета каждого из них, характеристики его творчества. Моя задача гораздо более скромная: рассказать, что я видел и слышал.

О многих моих собеседниках существует большая не только литературно-критическая, но и мемуарная литература. Я старался не повторяться, сказать что-то свое. Насколько это удалось — не мне судить.

Особенно трудно восстанавливать в воспоминаниях чужую речь. Конечно, стенограмм я не вел, но то, что слышал, я хорошо запомнил, особенно слова, меня поразившие, показавшиеся мне необычными, те, которые произвели на меня большое впечатление. Я старался их передать правдиво и по возможности точно.

Своих собеседников я стремился обрисовать на фоне гигантского роста Советской Страны и ее культуры.

«Устные рассказы писателей» и «Читали поэты» — опыты своеобразных мемуарных обзоров. В известной мне литературе я подобных им не встречал...

ЗАПИСКА, НАПИСАННАЯ ЗЕЛЕНЫМ КАРАНДАШОМ

Уже давно было известно о возвращении Горького в СССР после долгого отсутствия; но день этот все откладывался и был уточнен довольно поздно.

И вот все редакции, все издательства, вся литературная и журналистская Москва встречают великого писателя. Я запомнил этот день, 28 мая 1928 года. День был не совсем майский, сумрачный, накрапывал дождь.

Я заметил Горького в окне поезда, он казался смущенным, растроганным, утирал слезы большим белым носовым платком. Впрочем, он тогда только мелькнул передо мной, как кадр в кино. Меня оттеснили, и больше я ничего уже не видел, несмотря на свой рост.

На следующий день после приезда Горький должен был выступать на съезде железнодорожников, в железнодорожном клубе на Каланчевской площади. Рабкоры «Гудка» обратились к писателю с просьбой побеседовать с ними после этого выступления. Он ответил согласием.

Рабкоры собрались в какой-то боковой комнате клуба. Сидели за партами, как школьники (здесь в обычные дни действительно работала школа, школьных помещений тогда не хватало).

Никого из руководителей газеты не было на этой встрече, по-видимому не верили, что беседа состоится. Не было и работавших тогда в «Гудке» Олеши, Ильфа и Петрова.

Рядом со мной сидела Нина К., очень приятная девушка, тогда единственная женщина-репортер в нашей редакции. Женщин-журналистов в то время было мало.

Мы ждали довольно долго. Наконец явился секретарь Горького и сообщил, что Алексей Максимович устал, чув-

ствует себя неважно, но все же, раз он обещал рабкорам, он зайдет к ним. Только пусть беседа будет недолгой...

Вошел Горький. На учительскую кафедру он не захотел подняться. Раздвинули парты, образовался круг с Горьким в центре, и Горький начал беседу. Он говорил о силе воли, о том, что сила воли, энергия необходимы для всех, кто собирается работать в журналистике, в литературе, что сила воли — это сила жизни, в ней честь и достоинство человека.

Беседа не была застенографирована. Оттого о ней не знают даже самые дотошные горьковеды. В «Летописи жизни и творчества Горького» отмечено его выступление на съезде железнодорожников, но о встрече с рабкорами «Гудка» нет ни слова. Ведь нельзя проследить за каждым часом в жизни писателя.

Алексей Максимович все время курил. Зажигал одну папиросу о другую. Курил и кашлял...

Я видел, что моя соседка страдает. Дело в том, что Нина ненавидела курение, говорила, что надо запретить табак как наркотик, считала, что если мужчина курит в присутствии женщин, этим он оскорбляет женское достоинство. Сколько споров бывало на эту тему в редакции!

И вот я увидел, что Нина вырвала листок из своего репортерского блокнота и что-то быстро пишет зеленым карандашом (другого под рукой не было). Я сразу понял, что эта записка адресована Алексею Максимовичу. Нетрудно было догадаться, о чем идет в ней речь. Впрочем, позже Нина пересказала ее содержание:

«Дорогой Алексей Максимович, вот Вы говорите о силе воли, а убиваете себя курением. Ведь Вы не молоды и не отличаетесь крепким здоровьем, а Ваша жизнь нужна всем нам, нашему народу, всему человечеству. Неужели врачи не нашли способа отучить Вас от курения? Дорогой Алексей Максимович, бросьте курить! Вы губите себя!»

Не знаю, считала ли Нина всерьез, что ее записка может убедить Горького бросить курение.

После недолгого разговора с рабкорами Горький высоко поднял Нинину записку и спросил:

— Кто мне писал эту зеленую записку?

— Мы! — закричала Нина.

Меня тогда обидело это «мы», ведь я в составлении записки не принимал никакого участия.

Горький подошел к нам. Я встал, уступил ему место. Вокруг собрался народ. Горький сказал:

— Тут у нас будет беседа интимная, так сказать, конфиденциальная...

Товарищи столпились у двери и все всё же прислушивались. Конечно, я не запомнил слово в слово, что говорил Горький, но отдельные его выражения помню твердо и ясно.

— Вы думаете,— сказал Горький,— я не знаю, что мне вредно курить? Врачи мне твердят об этом каждый день, даже несколько раз в день. Право, надоели. Но что тут поделаешь — разве может человек жить без огня? Я не могу. Папироса — это мой «домашний костер» (это точное выражение Горького). Костер, который меня согревает. И успокаивает, между прочим. Курю я простые русские папиросы, модные сигареты меня не прельщают. Когда-то, во времена очень далекие, жили люди без огня. Нам трудно сейчас представить, что это была за жизнь. Жизнь страшная, проклятая. Знаете легенду о Прометее? Он подарил людям огонь. Прометей — друг людей, он куда более человечен, чем «постный» Христос. Как хорошо бы было, если бы один из современных молодых писателей рассказал о Прометее...

— Вот Вы и напишите о нем, Алексей Максимович! — воскликнула Нина.

— Нет,— сказал Горький,— это не мой рассказ (меня несколько удивили эти слова: не «моя тема», а именно «мой рассказ»).

— Вообще, милая барышня (хорошо помню и это, несколько архаическое для того времени обращение Горького), не все в жизни просто, ясно, легко объяснимо. Пой-

мите это, и тогда Вам, может, легче будет жить. Вот, Горький отравляет себя табаком, совершает, скажете Вы, преступление. Но что делать? Иначе он не может.

Я тогда подумал, что этот сидящий на парте старый, сгорбленный, усталый, часто кашляющий человек сам является великим носителем Прометеева огня, огня жизни и творчества.

Наша беседа была прервана. Пришел секретарь Горького, сообщил, что его ждут, нужно срочно ехать.

— Поговорим еще когда-нибудь,— сказал Горький, прощаясь с нами.

Видеть великого писателя мне больше не пришлось...

Образ Прометея интересовал Горького. Это видно по его письмам. Прометей упоминается во многих его выступлениях. Еще в 1909 году Горький писал: «Спор человека с богом вызвал к жизни грандиозный образ Прометея, гения человечества». Знал ли Горький тогда высказывания Карла Маркса о Прометее? Карл Маркс называл его самым благородным святым и мучеником в философском календаре. Вряд ли знал!

Через несколько лет после смерти Горького я работал над сценической историей его пьес и дважды беседовал с Марией Федоровной Андреевой (беседы происходили в Доме ученых, директором которого она тогда была). Я рассказал ей о записке, написанной зеленым карандашом.

— Да,— согласилась она,— Алексей Максимович называл себя огнепоклонником, он очень любил огонь, и не огонь камина, а всякие факелы, костры. Он вспоминал, как в дни своей юности мчался на пожары. «Пожары,— говорил он,— были любимым развлечением русского захолустья». Зажигать костры и подбрасывать в них хворост было для него удовольствием. На Капри он мастерил костры в виде букв русского алфавита. Я помню костры на буквы Н, Р, П. Он хотел «зажечь» весь русский алфавит, но это как-то не вышло. Так оригинально отражалась, по-видимому, тоска Горького по родине.

— Образ Прометея,— говорила Мария Федоровна,— в то время интересовал Горького. Я собирала для него кое-какой иностранный материал по этой теме. Перевела несколько отрывков. Отдельные записи Горького, касающиеся Прометея, по-видимому, были, но не сохранились. Может, сам Алексей Максимович их уничтожил. В последующие годы об этой теме он уже не упоминал.

— Горький говорил мне,— продолжала Мария Федоровна,— что, когда появилось электрическое освещение, оно не понравилось ему, как и многим людям того времени, казалось слишком бледным, одноцветным. Горький рассказал интересную историю из нижегородской жизни тех времен. Некий человек, просидевший пятнадцать лет в тюрьме, вышел на свободу уже в начале века, когда электрическое освещение стало входить в быт. Этот человек считал, что злые люди арестовали свет и огонь, держат их в плену, и он должен их освободить. Он ходил с большой палкой и разбивал электрические лампочки. А потом удивлялся, что освобожденный огонь не заметен, не спешит приветствовать своего освободителя. Скоро он угодил в сумасшедший дом.

Вообще электрическое освещение воспринималось людьми как нечто необычайное, почти чудесное. Автор этих строк слышал рассказ шлиссельбуржца И. И. Попова о том, как заключенные народовольцы, люди в большинстве своем высокой культуры, не верили жандарму, который разболтался (разговаривать с заключенными ему не разрешалось) и сообщил, что Мариинский театр освещен электричеством. Это казалось выдумкой, нелепой фантазией...

Я никогда не думал выступать с воспоминаниями о Горьком — единственная моя встреча с ним была недолгой, беседа, которой я был скорей свидетелем, а не участником, не слишком значительной. Но сейчас интересно каждое слово великого писателя, каждая встреча с ним. О его увлечении образом Прометея мало известно.

И пусть это будут не воспоминания о Горьком, а рассказ о записке, написанной зеленым карандашом.

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Немало о нем вспоминали, писали порой талантливо и интересно. И все же мне хочется сказать что-то свое об этом замечательном человеке. Сколько раз я слушал его выступления и сравнительно часто беседовал с ним — и по заданиям различных редакций, и в порядке личной инициативы.

Несмотря на занимаемый высокий пост, он был прост и доступен, неизменно приветлив и внимателен к людям, особенно к молодежи. Это был выдающийся партийный и государственный деятель, ученый, философ, искусствовед. Но, по-моему, прежде всего он был большим художником, и художником оригинальным. Мне пришлось слышать от самого Луначарского, что ученый борется в нем с художником и порой художник берет верх. Он говорил об этом в московском Доме печати, где бывал частым гостем. Так оно было и в действительности.

Сейчас уже забыты драматические произведения Луначарского, сыгравшие большую роль в развитии советского театрального искусства, и мало кто знает о Луначарском — поэте и поэтическом переводчике. Между тем он писал стихи, вдохновенные и своеобразные, правда редко выступал с ними и почти не печатал. Я слышал их в одном московском литературном салоне — на «Никитинских субботниках», и они произвели на меня большое впечатление.

Как-то я даже спросил у Анатолия Васильевича: почему мы не знаем его стихов? Но он не ответил, перевел разговор на другую тему, по-видимому собственные стихи его не удовлетворяли. Конечно, подлинно художественными были литературоведческие работы Луначарского.

Кроме всего этого, он был замечательным оратором. Каждая его речь представляла собой законченное художественное произведение. Когда будет написана история советского ораторского искусства, Луначарский — оратор-художник займет в ней достойное место. Я мало слышал

в своей жизни таких содержательных и вместе с тем искрометных, ярких, образных речей.

1920 год. В Ростове Луначарский делает доклад о международном рабочем движении. Он говорит о политических и профсоюзных деятелях различных стран, говорит увлекательно, остроумно. Мне даже вспомнились Свифт и Рабле. О тогдашней лейбористской партии он сказал:

— Это Ноев ковчег, там всякой твари по паре. Ной так боится, что его ковчег будет залит всемирным потопом. Что тут удивляться, ведь Ной — это Гендерсон (лидер лейбористов).

Рядом со мной сидел Евгений Шварц — в то время скромный молодой актер.

— За час,— сказал он,— мы с вами объехали весь мир!

Познакомился я с Луначарским в 1928 году, в Ленинградском отделении «Известий», которое помещалось тогда на углу Невского и Фонтанки, в том доме (сгоревшем во время войны, потом восстановленном), где жил Белинский. Луначарский заходил туда в каждый свой приезд в Петроград.

В этот раз он был очень весел и оживлен. Его обступили сотрудники редакции. Он рассказывал о неудачном путешествии двух, как он выразился, Гарун-аль-Рашидов. Оказывается, он недавно приехал из Москвы с Михаилом Ивановичем Калининым и убедил Всероссийского старосту пройтись пешком, так сказать, «инкогнито» по городу. И они гуляли по Невскому, заходили в различные магазины, ателье, кофейные.

Это путешествие подробно было описано в «Вечерней красной газете». Но вот в кафе на углу Невского (тогда 25 Октября) и нынешней улицы Рубинштейна их узнали и приветствовали очень весело.

Луначарский вдохновлял людей, заставлял их глубже мыслить, ярче чувствовать. Это был человек не только глубокой культуры, но и многообразных талантов. Чем-то он был близок замечательным людям эпохи Возрождения. За

эту исключительную талантливость его ценил и любил Ленин.

Изумительной была эрудиция Луначарского. Казалось, он все знал. Но это была эрудиция не мертвая, даже не книжная, а действенная, активная. Просто поражало, откуда он все это знал.

Не раз выступал он против вождя «живой церкви» Введенского, человека очень образованного и талантливого. Эти дискуссии нисколько не были похожи на привычные в то время несколько поверхностные антирелигиозные выступления. Луначарскому были известны все тонкости «божественной науки», он был в курсе всех даже самых новейших зарубежных теологических изысканий.

Богословская наука, имевшая, по семинарскому выражению, «много гитик», еще до революции у нас как-то увяла и мало интересовала передовых интеллигентов. Правда, некоторые старые революционеры вышли из семей священников, даже учились в бурсах и духовных академиях. Но Луначарский к ним не принадлежал.

Во время одного из этих диспутов я решил встретиться с Анатолием Васильевичем. Я уже говорил, что он был доступен, общителен, но побеседовать с Луначарским мне тогда не удалось. Однако я был по-своему вознагражден: я увидел сцену, интересную и занимательную. Диспут происходил в театре. У Анатолия Васильевича за кулисами сидел молодой попик в потрепанной рясе, по-видимому сельский священник. Он принес наркому просвещения ни более ни менее как математические доказательства бытия бога. Это была большая, толстая папка.

— Я знаю,— сказал Луначарский,— восемнадцать попыток математически доказать реальность бытия бога, от шестнадцатого века до нынешних дней. Пусть ваша будет девятнадцатая, со временем я ее прочту.

Эти слова почему-то обидели молодого священника, он опечалился, забрал свои рукописи и удалился, кажется, не попрощавшись.

Луначарский развел руками...

— Вот, обиделся,— обратился он ко мне,— нехорошо!

Среди многочисленных талантов Луначарского был и актерский талант, или, по крайней мере, талант импровизатора. Это чувствовалось во многих его речах. Актеры Малого театра рассказывали мне, что Луначарский так замечательно читал свои пьесы, так красочно изображал каждую сценическую фигуру, что им после его чтения легче было играть. Мне пришлось слышать только исполнение им небольшого его фарса «Три путника и оно». Я запомнил персонажей этой пьесы (действие происходит в Германии сороковых годов прошлого века) — графа, путешествующего в карете, романтического поэта, едущего верхом, и рабочего-каменщика, идущего пешком по дороге. В чтении Луначарского очень ярко чувствовались и социальные характеристики персонажей, и их человеческая индивидуальность.

Был я свидетелем и особой импровизации Луначарского, причем в этом случае даже единственным. По заданию редакции газеты «За коммунистическое просвещение» я должен был провести беседы о ликвидации неграмотности с несколькими уважаемыми товарищами.

Встречи с Луначарским я добился много легче, чем с другими. Он начал рассказывать довольно трафаретно, потом, пожалуй, смутился, ему это, видно, надоело.

— Вот что значит неграмотный человек,— сказал он,— смотрите. . .

Произошло необычайное превращение высокообразованного наркома — на две-три минуты он превратился в неграмотного крестьянина. Немного слов сказал он в этом образе, это было очень неожиданно и красочно. Я был так удивлен, потрясен, что даже забыл эти слова.

Когда я встретился с ним примерно через месяц, я сказал, что очень жалею, что не владею стенографией и не мог записать слова этой импровизации.

— Какой импровизации? — удивился он.

Я вначале подумал, что он не хочет почему-либо об

этом вспоминать. Но скоро понял, что он действительно забыл.

В московском Доме печати группа журналистов упросила Луначарского рассказать, какова будет жизнь людей при коммунизме. Луначарский вначале отказывался, во всяком случае отказывался выступать на эту тему официально, но потом согласился: хорошо, пофантазирую. Только пусть это будет моя фантазия, вероятно не все осуществится так, как я предполагаю.

Это был рассказ очень интересный, рассказ об успехах техники, о том новом, что войдет в жизнь человека. Луначарский говорил о больших домах, окруженных садами, о новом быте, о широком удовлетворении бытовых потребностей. Многое из того, о чем думал он тогда, стало привычным для людей наших дней, иное будет осуществлено, вероятно войдет в обиход через десяток-другой лет, кое-что, видно, отпало, оказалось нереальным. Так, Луначарский уделил много внимания индивидуальным летающим машинам и движущимся тротуарам. Здесь сказалось влияние утопической литературы.

Увы, я не все запомнил отчетливо. Помню хорошо его мысль о том, что любовь и ревность сохранятся в будущем обществе, будет и несчастная любовь. Это «вылечить» невозможно, такова природа человека.

— Как будут одеваться люди? — спрашивали его.

— Конечно,— сказал он,— наши сюртуки и женские кофточки скучны!

Он описал многокрасочную одежду людей будущего.

— Костюм эпохи Возрождения! — сказал кто-то с места.

— Да, вы правы. В основе здесь костюм эпохи Возрождения, по-моему, самая красивая одежда в истории. Ведь, например, костюм античных времен никак не подходит к нашему климату. Но я не просто описывал костюм эпохи Возрождения, я старался, сколько мог, его модернизировать, применить к условиям нового и новейшего вре-

мени. Конечно, я здесь могу ошибиться, может быть, костюм будущего станет совсем другим.

Резкие возражения встретили тогда слова Луначарского о том, что лучшие ювелирные украшения из драгоценных камней и золота будут присуждаться самым красивым девушкам на особых конкурсах красоты.

— Как, конкурсы красоты? Это же апофеоз буржуазной пошлости!

— Нет явлений неизменных,— спокойно ответил Анатолий Васильевич.— Да, в буржуазных странах эти конкурсы являются предметом купли и продажи, источником пошлости, но ведь мы не отрицаем человеческую красоту и можем признавать соревнования в этой области, как и в области мысли и творчества. Человек будущего общества будет не только разумным, но и красивым.

Его не раз обвиняли в излишнем гедонизме, в эпикурействе. Многие товарищи, суровые и строгие, шутя называли его «Лоренцо Великолепный». Это прозвище нравилось Луначарскому. Он сам себя называл «Лоренцо Великолепный» — только новой Великой Советской эпохи.

Были у него свои художественные вкусы, пристрастия. Он их не скрывал. Но перед ним как государственным деятелем стояла задача собрать все культурные силы страны. Его много обвиняли, причем обвинения приходили и справа и слева. То он слишком покровительствует всяким «левакам» в искусстве, особенно в искусстве изобразительном, а то несколько неожиданно выдвигает лозунг «назад к Островскому», который тогда многим казался почти реакционным.

Луначарский очень широко, многообразно воспринимал искусство во всех его разновидностях, все художественные течения. Иногда он совершал ошибки, покровительствовал людям не всегда достойным, но в целом он замечательно руководил культурной жизнью страны в эпоху ее небывалого развития и роста. Он представлял себе будущую жизнь как жизнь радостную и счастливую, жизнь глубоко человечную.

Помню, на одном из диспутов он заявил:

— Я не представляю коммунизм в виде большого монастыря со своим особым уставом!

Иногда он слишком верил людям, и они злоупотребляли этим доверием. Его обвиняли в либерализме, и порой эти обвинения были правильны. Но как много он сделал для изменения сознания интеллигенции, для привлечения широких ее кругов к активной советской работе, особенно в первые месяцы после Октября, когда перед каждым интеллигентом стоял роковой вопрос — как теперь жить?

Огромное значение в то время имели и речи Луначарского, и его выступления, и его беседы, и даже его личное обаяние. Сколько раз приходилось слышать, что именно под влиянием Луначарского изменилось сознание человека. Мне говорили об этом люди очень разные — начиная от учителей в казачьей станице Белая Калитва, с которыми он беседовал во время поездки, и до таких людей, как академик Ферсман или артистка Мичурина-Самойлова.

Луначарский и перестройка сознания русской интеллигенции — это может быть темой серьезной научной работы. И, надо думать, не все здесь известно. Влияние Луначарского перешагнуло тогда и за рубеж нашей страны.

Очень большое впечатление произвела на всех его речь на юбилейном заседании Академии наук в 1925 году. О ней в свое время писали немало. Луначарский начал эту приветственную речь по-английски, затем перешел на французский, на немецкий, на русский. Но самым замечательным была концовка речи, она была произнесена на латыни — международном языке старой науки. Мертвый язык замечательно зазвучал в речи Луначарского. Я учился в гимназии, как будто бы прилично знал латынь, но здесь впервые почувствовал красоту древнего языка.

Закончил он речь стихами Горация, прославляющими человеческий разум. Это выступление имело широкий международный отклик, о нем много писали зарубежные газеты, даже те из них, которые были антисоветски настроены. Ведь это было время, когда в буржуазной прессе

старались представить Советский Союз страной невежественной и дикой.

Мне пришлось в те дни говорить об этой речи с базельским профессором Альбертом Нетушилом, известным латинистом.

— Когда-то,— сказал он,— я пытался приучить своих учеников пользоваться латынью в быту, но у нас ничего не получилось. А вот ваш Луначарский оказался магом и волшебником, он оживил мертвую латынь, показал все художественные достоинства старого языка, его глубокую образность, поэтичность, он воскресил ораторское искусство Цицерона.

Да, в этой концовке замечательной речи сочетались огромная культура с высоким искусством. Все это было характерно для Анатолия Васильевича. Всегда так радостно было его слушать и общаться с ним. Мне казалось, что каждый человек после беседы с Луначарским становился чище, ярче, светлее.

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ СЦЕНЫ

В этом мудреце и большом художнике было что-то наивное, почти детское. И это придавало ему особое обаяние. Я как-то слышал его беседу с детьми — они радовались, восторгались, смеялись, и он радовался вместе с ними. Он рассказывал сказки и всякие прибаутки на только им понятном языке. И показывал им кукольный театр. Никакого театра, конечно, не было, был только платок и его пальцы. Но на глазах зрителей разыгрывалось настоящее веселое сказочное представление.

И я тогда подумал: может, в подлинной мудрости и в самом деле есть что-то детское.

В другой раз он очень серьезно рассказывал на вокзале в Ростове маленькой девочке, как трудно перевозить театральную труппу. Это была «деловая беседа».

Я познакомился с ним в актерской уборной Качалова на спектакле «Царь Федор Иоаннович». Я поразился. Во-

шел русский богатырь, который как будто бы только сошел с полотен Васнецова. Я даже сразу не понял, кто это.

Начал Станиславский играть эту роль довольно поздно, во время американских гастролей в 1923—1924 годах. До этого Ивана Шуйского изображали обыкновенным боярином, но ведь он был воеводой, воином, героем и, по-видимому, талантливым военачальником, защищавшим стены Пскова, отразившим полчища Стефана Батория.

И Станиславский создал образ Шуйского-богатыря, одного из тех воителей, которые воплощали славу и величие древней Руси.

Конечно, здесь была известная доля театральной условности. Вряд ли мог Иван Петрович Шуйский являться ко двору в боевых доспехах.

Он замечательно носил эти доспехи (точная копия воинского одеяния, хранившегося в Историческом музее). И казалось, у него настоящая седая борода. Удивлял весь облик сурового и мужественного старого воина.

Когда попадаешь в актерские уборные, особенно чувствуешь всю условность театрального костюма и грима. Из зрительного зала, при особом сценическом освещении, они производят впечатление чего-то подлинного, но это впечатление так быстро рассеивается за кулисами. А тут живой богатырь. Совершенно не чувствовалось, что перед тобой переряженный актер. Да, это был богатырь русского театра.

Впрочем, он вел беседу не совсем богатырскую. Беседу, по-моему, очень интересную и важную. И тогда, и впоследствии я слышал ряд его суждений о театре, которых не найдешь в его сочинениях. И это понятно. В самом деле, не мог великий театральный деятель, реформатор, писать вещи, обидные для театра. Не для одного какого-нибудь театра, а для театрального искусства в целом. Так, по крайней мере, могли быть истолкованы эти суждения Станиславского. Говорили о Художественном театре. Качалов рассказал о своем друге, известном грузинском поэте и литературном критике (Б. Жгенти):

— Он считает себя футуристом, но очень любит Художественный театр. «Как же это вышло?» — спросил я его. И тот не смог ответить.

— Тут дело ясное,— сказал Станиславский,— ведь наше искусство отстает от других искусств примерно на два поколения. И происходит это потому, что мы как бы обобщаем то, что уже достигнуто другими искусствами. Вот только теперь мы начинаем постигать ту великую простоту и правду, которая была доступна передвижникам и композиторам «Могучей кучки».

Меня тогда очень удивило это высказывание Станиславского. Может быть, шутка, подумал я, или парадокс... Но, как выяснилось, он не раз говорил об отставании театра своим ученикам. Об этом мне рассказывал долго работавший со Станиславским режиссер Николай Михайлович Горчаков, а также ленинградец Борис Вульфович Зон, тоже ученик Станиславского. Правда, передавалось это разными словами, но мысль была та же. Печатно же высказать такие мысли он, видимо, не считал удобным. Также не считал нужным делать широкоизвестными и некоторые другие свои мысли, которые мне удалось тогда слышать.

— Мы — искусство грубоватое, массовое, по природе своей коллективное. Художник, композитор, поэт — более утончен творчески. Он творит обычно один. А мы работаем на народе, в этом и наша сила, и наша слабость. Мы имеем дело не с холстами и красками, не со словами и нотами, а с живым человеком — актером. Это хитрый и сложный материал. Всегда он может сотворить что-нибудь необычное, совсем не то, что хочет режиссер. Я писал немало всяких экспозиций, планов спектаклей, и очень немногие из них реализуются до конца, может быть не больше десяти процентов. Неожиданно меняешь на ходу, оттого такая нервная и сложная наша работа.

В 1925 году во время гастролей Художественного театра в Ростове я несколько раз сопровождал Станиславского в его прогулках по городу. Он просил показать город — и не парадные улицы и здания, а какие-нибудь характер-

ные уголки. Их немало в каждом городе. Особенно ему понравился соседний с Ростовом город — Нахичевань (теперь это один из районов Ростова) с его уютными садиками и старыми армянскими церквами. В одном из этих садов и произошла та встреча Станиславского с детьми, о которой я уже говорил.

Во время прогулок многие прохожие кланялись и снимали шляпы. Нет, это не были знакомые. Это была дань уважения великому деятелю театра.

Один прохожий даже поклонился в пояс. Станиславский отвечал очень вежливо. Но тут он несколько смутился.

— Что это? — сказал он.— Такие церемонии ни к чему!

В тот год в городе и его окрестностях был невиданный урожай роз. Помню, роза стоила копейку. Станиславский подходил к продавщицам цветов, выбирал розы, менял, несколько раз составлял небольшие букеты. У одной из лавочек, где торговали цветами, он остановился:

— Смотрите, голубая, совсем как у Новалиса. В молодости я ведь увлекался немецкими романтиками.

Как-то мы проходили по переулку, в котором стоял дом с балконом над тротуаром. На балконе оказалась группа молодежи, по-видимому студентов. Эта молодежь узнала моего спутника. Девушки стали бросать цветы, закричали:

— Да здравствует Станиславский!

Константин Сергеевич поклонился картинно, немного театрально снял шляпу. Затем прошел очень быстро, так, что я еле за ним поспел.

— Люблю молодежь,— сказал он.— Но с нашей театральной молодежью надо держать ухо востро. Мне все смотрят в рот и ждут откровений, считают, что я все знаю и все умею. А откровений нет. Я только начинаю постигать тайны нашего искусства...

Мне тогда казалось, что он гордится своей славой и в то же время немного боится ее.

— Слава,— говорил он,— вещь опасная. Я, например, мог бы составить изрядный список молодых актеров, загубленных слишком ранней популярностью.

В Ростове я познакомил Станиславского с местным профессором Сретенским, тогдашним директором Дома ученых. Сретенский просил Константина Сергеевича выступить перед профессорами, рассказать об американских впечатлениях. От публичного выступления Станиславский отказался, но дал согласие побеседовать за чашкой чая в интимной обстановке. Правда, об этой беседе стало скоро известно, и собралось много народа, молодежи и студентов, которые даже стояли в коридоре и в дверях. Станиславский был недоволен и смущен. Он извинился, что мало знает о состоянии науки в Америке. Впрочем, он интересно описал посещение им сада «чудодея из Калифорнии», знаменитого садовода и селекционера Лютера Бербанка. Характерно, что тогда, в 1925 году, мало еще знали нашего собственного «чудодея» Мичурина. Правда, имя Мичурина назвал в этой беседе один из профессоров.

Впоследствии, года уже через три, я дважды встречал Константина Сергеевича в доме Качалова, в последний раз незадолго до тридцатилетнего юбилея Художественного театра. Как известно, на юбилейном спектакле он тяжело заболел и последние десять лет жизни почти не выходил из дома, но работу свою продолжал.

Меня поразили его иронические высказывания о «системе Станиславского», его резкие возражения против тех, кто старается превратить в догму его искания, его почти издевательское отношение к слишком рьяным последователям.

— Он даже щи хлебает по системе Станиславского,— сказал он об одном из них.

— Это не человек, а ходячая сверхзадача! — характеризовал он другого.

— В навозной куче нашел он жемчужное зерно роли,— говорил он о третьем.

— Вот выйдет моя книга,— говорил Константин Сергеевич,— начнется Никейский собор. Толкование, видите ли, священного писания.

Он относился иронически к своим слишком верным последователям и любил не слишком верных, таких, как Сулержицкий, Вахтангов, Мейерхольд. По-моему, к Мейерхольду он относился с любовью и с некоторой боязнью. Как к шаловливому ребенку, который бог знает что может выкинуть.

Как известно, он не терпел актерского чванства и зазнайства, но, умудренный жизнью, относился к этому не всегда строго. Однажды ругали кого-то за не совсем этичный поступок, Станиславский сказал:

— Я сам когда-то переболел всеми этими болезнями — и самомнением, и зазнайством, так что мне укорять трудно.

В последний раз я видел Станиславского у Качалова. Возник спор о новаторстве в искусстве. Константин Сергеевич высказал очень интересные мысли, как бы развивающие то, что я уже слышал от него ранее.

— Новаторство в театре особенно трудно. Поэт остается наедине с бумагой и карандашом, композитор со своим инструментом, художник с холстом и красками, они могут придумывать что им угодно. А новаторство режиссера может привести к вывиху, если ему не удастся создать коллектив новаторов-единомышленников, а это дело очень трудное и требует десятилетий. Что мы наблюдаем сейчас? Режиссеры упорно экспериментируют. Но их эксперименты не всегда понятны не только зрителю, но и коллективу актеров. Получается так: командир рвется вперед, а войско где-то сзади, в обозе.

В те годы становилась популярной теория относительности, и о ней много говорили. Помню слова Станиславского:

— Я думал, что только у нас, в искусстве, нет ничего бесспорного — в этом я был глубоко убежден,— а в науке

есть твердо установленные точные законы. И вот теперь выяснилось, что нет бесспорного и в науке. Меняются представления о мире. Это немного обидно для человечества, но мы, художники, можем радоваться.

Мудрость, соединенная с человечностью, каким-то особым обаянием и даже весельем, была характерна для его бесед. А ведь я встречался с ним не так уж много, при его репетиционной работе никогда не присутствовал. Мне кажется, что говорил он ярче, чем писал. Сам он не раз признавался, что пишет плохо, не умеет писать. Буквально это принимать нельзя, но и ученики Станиславского признавали, что его большое личное обаяние не полностью отразилось в его сочинениях. Но, конечно, это мысль спорная.

После 1928 года Станиславский не выступал на сцене. Сейчас уже все меньше и меньше остается свидетелей его удивительно простой и проникновенной игры,— может, даже слово «игра» здесь не подходит,— его живой жизни в искусстве. Никогда не забуду его Астрова, особенно неожиданные слова о «жарище в этой Африке». Как они захватывали своей необычностью! Никто так не мог передать подтекст чеховского творчества.

Я помню его комедийный образ Аргана в «Мнимом больном» Мольера. А его Сальери! Сам Станиславский был недоволен этим образом, но на меня он произвел огромное впечатление еще в школьные годы. Замечательно было сочетание зависти и стремления к творчеству. Преступление Сальери казалось неизбежным.

Станиславский-актер — это особая, большая тема. Я здесь сказал только о некоторых своих впечатлениях. Теперь о Станиславском-актере почти забыли, знают его как теоретика, режиссера, автора системы.

«Человек — это звучит гордо». Эти горьковские слова впервые прозвучали со сцены из уст Сатина — Станиславского.

Всем своим замечательным творчеством он утверждал эту гуманистическую мысль.

ТАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

1

Хотелось бы вспомнить о великом поэте словами, непохожими на другие. Он был человеком исключительно многогранным, ярким и очень сложным.

Я считал себя поклонником его поэзии с юношеских лет, но нас было тогда немного, и надо мной иногда смеялись: «Тоже нашел поэта!» Да, Маяковского в ту пору многие не понимали. Это может показаться сейчас странным, но это было так.

На моих глазах стало резко меняться отношение слушателей и читателей к его стихам. Нельзя сказать, что это произошло мгновенно. Это был процесс длительный и сложный; однако в последние годы жизни Маяковский добился всенародного признания, стал подлинным поэтом революции.

Я знал Маяковского как борца, спорщика, прирожденного полемиста. Эти его качества сложились в непрерывной борьбе. Насколько я помню, он не так уж больно реагировал на всякие критические отзывы, не страдал, если его ругали; по-моему, он разделял эти отзывы не на положительные и отрицательные, а на глупые и умные. Глупые его обычно раздражали. «Он глуп, как телефонная книжка, что с него возьмешь!» — помню его характеристику одного критика. К умным он относился со вниманием, даже если писавший не соглашался с поэтом. Перед Маяковским стояла задача переубедить товарища, и часто он добивался этого. Он был самолюбив, но ценил все талантливое в искусстве, в том числе и в искусстве критика.

Я помню, как он заразительно смеялся, рассматривая три карикатуры: это были карикатуры на него самого, и, право, довольно злые. Они доставили поэту немалое удовольствие.

Маяковский никогда не считал, что все должны понимать и принимать каждую строчку его стихов. Он любил,

когда с ним полемизировали умело и умно. Более того, он всегда стремился вызвать такую полемику, и не только во время эстрадных выступлений, но даже в товарищеской среде.

Другое дело, что немногие с ним отваживались спорить. Боялись меткости его языка, силы его слова. Я знал десятки, а может быть и сотни людей, которые признали значение поэзии Маяковского, поняли его стихи, только услышав самого поэта. Это были люди разного возраста, разного воспитания, разных взглядов.

2

Я познакомился с Маяковским в 1926 году в редакции ростовской газеты «Молот». До этого времени я несколько раз слышал поэта, увлекался его стихами. Но вот теперь я написал статью для «Молота», в которой говорилось, что Маяковский — замечательный революционный поэт, близкий к пролетариату, но все же не пролетарский художник. В ту пору пролетарским поэтом считался член соответствующей литературной организации или поэт, работавший у станка.

Во время своего выступления в Ростове Маяковский ругал мою статью, уделив ей гораздо больше внимания, чем она того заслуживала. На следующий день в редакции я робко подошел к Маяковскому и представился как автор этой злополучной статьи.

— Вы меня ругали! — сказал я.

Мне показалось, что Маяковский как-то застеснялся. Ему было неловко, что он меня обидел.

— Ну что вы, ругал... Нет... придирался. Ведь должен был я начать разговор с публикой с чего-то ей знакомого!

Я рассказал Владимиру Владимировичу, как увлекался его стихами с детских лет, как мы читали его стихи на улицах и ставили его пьесу.

— Ну вот, — сказал Маяковский, — мы, оказывается, старые друзья. Едемте со мной.

Он сказал это тоном, не допускавшим возражений. Я не знал, куда и зачем мы поедем. Мы отправились на извозчике в крупнейший местный книжный магазин. Маяковский там расспрашивал, как идет продажа стихов, какие книги покупают. Интересовался всем этим по-деловому, что-то набрасывал в своей записной книжке.

— Есть ли в продаже книги Маяковского?

— Были,— сказал продавец.— Все проданы!

— Кажется, есть в подвале, на складе,— добавил заведующий магазином.

Мы спустились в подвал. Нашли там тридцать книг Маяковского, изданных в разное время.

— Сейчас они будут проданы! — сказал поэт, снял пиджак и встал за прилавок. Он сразу привлек внимание публики. Стали заходить с улицы.

Маяковский спрашивал фамилию покупателя и делал соответствующую надпись, правда очень лаконичную: «Такому-то — Маяковский». Образовалась небольшая очередь, и книги были проданы очень скоро.

— Сколько времени я продавал? — спросил он, обращаясь к заведующему магазином.— Кажется, восемь минут. А у вас в подвале книги пролежали уже полгода.

Каюсь, мне тогда показалось странным это импровизированное выступление поэта. Неужели, думал я, чтобы продать тридцать книг, он должен становиться за прилавок да еще делать надписи?

Но позднее я понял, что это не было позой. Поэтам Маяковский говорил, что книжная торговля — это наше литературное дело.

В редакции «Молота» Маяковский бывал каждый день, заходил он и в другую газету — «Советский Юг». С разрешения редактора он просматривал и правил материал — не стихи, нет, обычные рядовые репортерские заметки. И мы порой удивлялись, какими выразительными и красочными становились эти заметки после его правки.

В этот приезд Маяковского произошла история, которую он после использовал в одной из своих пьес.

В нашей редакции была уволена машинистка. Современный читатель вряд ли угадает, за что. Она... красила губы. При тогдашних пуританских нравах некоторым казалось, что она компрометирует редакцию, вносит буржуазное разложение. Нелегко было в то время найти работу, и машинистка плакала. Я и местный фельетонист Н. обратились к Владимиру Владимировичу: помогите!

— Да,— сказал он,— бывают такие доморощенные Савонаролы.

Маяковский вошел в кабинет редактора. Сел с почти угрожающим видом.

— Скажите,— сказал он,— кому же она красит губы: себе или вам?

Редактор застеснялся и обещал восстановить машинистку на службе. Но Маяковского обещание не удовлетворило. Он потребовал, чтобы тут же, при нем, был написан соответствующий приказ, что и было сделано.

В Ростове на его публичном выступлении подошли к нему местные молодые поэты и попросили побеседовать с ними. После окончания вечера эта беседа продлилась до трех часов утра...

3

Маяковский — учитель поэтов. Весь облик Маяковского мало соответствовал учительскому званию. Но он умел учить и, по-моему, любил учить. Исправлял отдельные строчки. Выступал незаметным соавтором молодых стихотворцев, иногда подсказывал им темы. Но при этом он всегда считал, что поэт должен быть активным, не должен подчиняться авторитету. Когда какой-либо поэт пытался спорить с Маяковским, отстаивать свое мнение, Владимиру Владимировичу это нравилось. Он не терпел людей молчаливых и покорных.

Он любил слушать стихи в авторском исполнении. Я помню, как смущавшиеся молодые поэты старались ему незаметно подсунуть стихотворения, напечатанные на пи-

шущей машинке или написанные каллиграфическим почерком.

— Нет, вы прочтите! — говорил Маяковский.— Стихи должны звучать, а то я их не запомню.

Если стихи молодого поэта заинтересовывали Маяковского, он просил прочесть их дважды, трижды, потом сам читал и исправлял отдельные строчки.

— Так, по-моему, лучше будет! — говорил он.

Жила в Ростове поэтесса Мария Ершова, женщина тяжелой судьбы, недавно приехавшая из деревни; там ей приходилось худо, она батрачила у кулака. Маяковский был к ней особенно внимателен, много с ней работал, переделывал строчки ее стихов, а главное — подсказал Ершовой большую тему ее творчества.

— Крестьянских поэтов,— говорил он,— у нас много, но женщин, пишущих о деревне, почти нет. Это ваша тема и ваша судьба, личная судьба, которая должна стать судьбой вашей поэзии.

Он и после переписывался с ней, критиковал стихи, посылал ей книги из Москвы. Ершова была тяжело больна, и это, вероятно, помешало развитию ее таланта.

Тогдашние ростовские литераторы — В. Ставский (впоследствии широко известный писатель) и А. Бусыгин (обаятельный рабочий парень,— говорили, что он является прототипом фадеевского Морозки) — не побоялись выступить с критикой Маяковского. Речь шла о его знаменитых торговых рекламах. Товарищи, ценившие творчество поэта, считали, что он не должен размениваться на такие мелочи.

Маяковский вспылил:

— Конечно, я поэт, я об ангелах должен петь!

И он изобразил ангела, взмахнул руками, и пальцы его стали как крылышки: получился замечательный карикатурный типаж.

После этого спора я зашел к Владимиру Владимировичу в номер. Я впервые увидел поэта огорченным и утом-

ленным. Тогда я представлял его человеком твердокаменным.

— Что же делать! — сказал он мне.— Может быть, они и правы.

Вместе со мной был тогда в номере у Маяковского секретарь местной профсоюзной организации работников печати. Маяковский очень подробно расспрашивал его о том, как живут ростовские писатели и журналисты, чем он может помочь им в Москве.

Через несколько месяцев (кажется, в ноябре 1926 года) он вновь прибыл в Ростов. Я встречал его на вокзале. В это время в городе случилась серьезная авария с водопроводом и канализацией.

— Многое я могу простить,— говорил Маяковский,— но если по вине каких-то сверхголовотяпов страдает большой город, прощенья нет!

В этот приезд он казался очень взволнованным и усталым. Ему приходилось выступать по два раза в день, не только в Ростове, но и в соседних городах — Новочеркасске, Таганроге, Азове. Как он благодарил меня и еще двух товарищей за «самый ценный для него подарок»: мы доставили ему в гостиницу ящик нарзана!

В те времена забота о своей внешности считалась явным признаком буржуазности. Многие одевались нарочито небрежно — я, мол, не какой-то нэпманский щеголь. Ох и досталось мне, когда я явился в гостиницу к Маяковскому в «затрапезном» виде.

— Это что у вас — патент на пролетарское происхождение? — издевался он. — Вот вы журналист, встречаетесь с разными людьми, что могут подумать не только о вас, о всей советской прессе?

Я пытался возражать. Ведь сам Маяковский всячески выступал против «красоты».

— Кто это вам сказал, или вы сами выдумали? — спросил поэт. — Человек должен быть красивым и внутренне, и внешне, и замечать красоту вокруг.

Сам Маяковский, может быть, не был красивым в

обычном понимании слова, но он был статен, очень пластичен, умел красиво носить свой скромный пиджак, свой джемпер. Даже в его внешнем облике чувствовалось обаяние поэта.

4

Следующая встреча с Маяковским произошла уже в Москве, куда я переехал в начале осени 1927 года.

В Доме печати я поклонился ему довольно робко. Кто был я для него — провинциальный журналист, каких он много встречал в своих странствиях. Но, к моему удивлению, Маяковский сам подошел ко мне. Он даже откуда-то знал, что я работаю теперь в «Гудке».

— Хорошая газета,— сказал Маяковский,— скромная, но хорошая. Много талантливых журналистов...

Маяковский назвал Файнзильберга (будущего Ильфа), Козачинского, Е. Петрова, Бориса Перелешина.

В Доме печати Маяковский бывал часто и дружески беседовал с журналистами. Его все интересовало в работе редакций.

Однажды я застал Маяковского в одной из боковых комнат. Он занимался как будто не совсем подходящим для него делом: помогал клеить стенную газету. Работа шла весело, оживленно.

— Владимир Владимирович,— сказал я,— неужели для этого не найдутся другие люди?

— Я работник печати,— ответил Маяковский, кажется немного даже разозлившись,— и все должен уметь делать, и делать хорошо. А что вы думаете — мое место только на Парнасе? Я не Пегас... я парнасский битюг!

К товарищам простым, скромным он относился с неизменным вниманием и всегда старался им помочь. Другое дело на эстраде, на поэтических диспутах. Там он был резок в полемике, разил противников действительных и мнимых без пощады.

В Театре сатиры шло тогда остроумное обозрение

В. Ардова и Л. Никулина «Таракановщина». Это была сатира на тогдашние литературные нравы. В ней был выведен Маяковский под именем Московского. Все зрители отлично понимали, о ком здесь шла речь, тем более что актер, игравший эту роль, был загримирован под Маяковского.

По ходу пьесы Московский приносит профессору Хватову (подразумевался известный тогда литературовед Фатов) лекарство для больной дочери. Он очень заботится о профессоре и о его семье. А затем во время выступления на литературном диспуте называет профессора «старой калошей».

— Разве я хотел вас обидеть? — говорит потом Московский.— Так уж, знаете, вышло, простите. Надо было как-то начать выступление, к чему-то придраться.

После рассказанных выше происшествий в Ростове я, конечно, оценил остроумие этой сцены. Как выяснилось, Маяковский не обиделся. Хвалил авторов за остроумную пьесу. В. Ардов рассказывал, что только одна деталь вызвала раздражение поэта: в пьесе Московский в пылу полемики выпивает воду из чужого стакана — этого с Маяковским, при его врожденной брезгливости, не могло случиться.

Мне как-то пришлось присутствовать на выступлении Маяковского во ВХУТЕМАСе. Здесь молодежь его особенно любила и принимала восторженно. Ведь он сам учился когда-то в этом художественном вузе (правда, носившем тогда другое название). И вхутемасовцы гордились старшим товарищем. Они считали его своим. Я узнал, что Маяковский заходил к ним часто, бывал даже в общежитии студентов. Он критиковал работы молодых художников, подсказывал им темы картин, художественного оформления посуды и тканей.

После смерти поэта я узнал «тайну», о ней мне поведали некоторые студенты ВХУТЕМАСа. Дело в том, что здесь существовала так называемая «стипендия Владимира Владимировича». Он постоянно помогал двум-трем осо-

бенно нуждающимся студентам; об этом при жизни поэта никто не знал,— кажется, мало знали и после его смерти.

Из-за границы Владимир Владимирович привез автомобиль. Тогда личная машина была редкостью. Маяковский любил катать товарищей. Я ездил на этой машине неоднократно. Из Дома печати машина Маяковского обычно ехала переполненной. Он всех развозил по домам, только ставил одно условие — уступать место женщинам. При мне он высадил одного, который не счел нужным соблюсти это условие.

Вообще, по моим наблюдениям, к женщинам поэт относился рыцарски (какое «неподходящее» слово для Маяковского!). Он не терпел хамства. Ко всяким дешевым любовным похождениям относился как к чему-то противному, нечистому.

Не случайно Луначарский в своей речи на похоронах Маяковского говорил о том, что у больших людей и личные чувства бывают большими, всеохватывающими, грандиозными.

Помню, раз в Доме печати рассказывали анекдоты,— как тогда говорили,— «для некурящих». Собралась кучка слушателей, и вдруг все разбежались. Оказывается, по лестнице поднимался Владимир Владимирович.

Так же зло и брезгливо Маяковский относился к пьянству. Я помню, как он отчитал одного товарища, который явился в Дом печати слишком «веселым». Тот ушел пристыженный и потом с грустью вспоминал о своем проступке.

А ведь Маяковский понимал толк в хорошем вине и даже поразил приехавших в Москву армянских журналистов своими познаниями в этой области. Они тогда, кажется, не знали, что он уроженец Кавказа.

Особенно не любил Маяковский «все жанры сплетен» (это слова Владимира Владимировича). Вышло так, что журналист У. насплетничал, и сплетня коснулась Маяковского. Владимир Владимирович обещал его наказать. И вот они стоят рядом — маленький У. и гигант Маяков-

ский. Что-то говорят друг другу довольно резко. Затем У. завизжал от боли: оказывается, Маяковский сжал его палец.

— Вот, больно,— сказал поэт,— а высасывать не было больно? Из такого маленького пальчика высосал столько дряни и гнили!

Мне случалось видеть Маяковского усталым и раздраженным, это было заметно по его облику, по выражению лица. Но в таких случаях он был обычно немногословен, становился замкнутым. И мне всегда казалось, что его раздражение вызвано не личными горестями. Он сердился, злился, когда встречался с чем-то отвратительным, пакостным.

— Я очень не люблю,— сказал он однажды,— тех людей, что проходят мимо вонючей лужи и стараются ее не замечать!

На многих его публичных выступлениях задавались вопросы: «Почему вы себя выдвигаете на первое место? Как вы можете при этом говорить от имени революционного народа? Не притворство ли это?»

Когда Маяковский чувствовал, что так думают и некоторые товарищи, он становился мрачным.

— Они не понимают, что я все-таки поэт, имею право мыслить по-своему, не так, как все другие.

5

Основные интересы Маяковского были связаны с искусством — и не только с литературой, но и с живописью, театром, цирком, кино. Кинематограф он очень любил, но недостатки и ошибки кинематографии его раздражали. Помню, я смотрел с Владимиром Владимировичем заграничную картину. Маяковский злился, мы ушли, не дождавшись конца сеанса.

— Такое молодое искусство,— сказал он,— и уже такое старье, как будто оно прожило тысячу лет.

Казалось, меньше других искусств он знал музыку. Но

я помню, с каким напряженным вниманием он слушал концерт немецкого пианиста Эгона Петри.

Маяковского интересовало не только искусство. Я был на его выступлении на Трехгорной мануфактуре. Его привлекла какая-то машина, он долго и подробно расспрашивал о ее работе и был рад, когда инженер подарил ему чертеж этой машины. Его увлекали перспективы науки. Еще в Ростове местный писатель Борис Оленин рассказал Маяковскому план своей научно-фантастической повести.

— Вы все придумали,— спросил Маяковский,— приврали, или это действительно может быть?

Оленин познакомил Маяковского с местным физиком, профессором Фроловым. Я присутствовал при их долгой беседе. Речь шла о космическом взрыве, изображенном в повести. Маяковский допытывался, что здесь реально, что выдумка. Впоследствии его занимала теория относительности Эйнштейна, особенно проблема времени. Талантливый актер Зайчиков, участник постановок пьес Маяковского в театре Мейерхольда, задал ему однажды вопрос:

— Отчего в ваших пьесах, Владимир Владимирович, речь идет о времени?

— Время, оказывается, можно ускорить,— ответил Маяковский,— можно преодолеть тяжесть времени. Я всегда ненавидел медленно текущее время, оно отделяет от нас будущее человечества. Я когда-нибудь напишу пьесу о человеке, который сумел убыстрить время.

О человеке, победившем время, Маяковскому не удалось написать. Эта беседа проходила после премьеры «Бани» за несколько месяцев до гибели поэта.

Меня всегда поражало умение Маяковского вдохновлять людей. Я попал в московский цирк на репетицию пантомимы Маяковского «Москва горит». Присутствие поэта вдохновило артистов. Сколько было интересных творческих предложений — я прямо заслушался. И как увлеченно разговаривал Маяковский с клоунами, акробата-

ми, эксцентриками, разговаривал на их профессиональном языке. Он всегда любил цирк и считал его высоким народным искусством. Недаром первым из больших писателей он стал писать для цирка.

Вообще, по-моему, беседы поэта развивали творческое воображение, помогали художественному росту людей. Это относилось к самым разнообразным отраслям творчества. В театре Мейерхольда при постановке своих пьес Маяковский считался ассистентом режиссера, и актеры этого театра навсегда запомнили его замечания — меткие, выразительные и глубокие. Мейерхольд потом жалел, что Маяковский не выступал как режиссер, никогда не осуществил ни одной самостоятельной постановки. Он, оказывается, не раз предлагал поэту выступить в качестве режиссера, но Маяковский не решался.

— Какой артист пропадает! — эти слова нечаянно вырвались у другого выдающегося режиссера, Таирова, во время одного выступления Маяковского.

— Почему пропадает?

— Пропадает для театра,— сказал он смущенно.

Огромным было значение мастерства Маяковского, его художественного подвига и даже его личного обаяния для работников искусств всех жанров и стилей, для поэтов, художников, артистов, циркачей, кинематографистов. Эта ведущая роль поэта в развитии советской художественной культуры его эпохи, может быть, до сих пор не осознана до конца.

6

Я думаю, что, когда речь идет о большом поэте, надо описывать и обстановку, в которой он жил, творил, трудился, и отношение к нему его рядовых современников. Москва любила Маяковского, особенно в последние годы его жизни. Он не был скрытен, не таился, но и не подчеркивал своего превосходства. Всякое его появление воспринималось радостно и торжественно. Его любили не только

восторженные почитатели и не только поэты и литераторы,— любили актеры, художники и студенческая молодежь, увлекающаяся искусством, и, наконец, люди, никакого отношения к искусству не имевшие. Сколько раз я был свидетелем проявлений этой любви. Иногда казалось, что самого поэта утомляла исключительная популярность.

В последние годы жизни он часто болел, особенно гриппом. Как-то в беседе со мной он удивился, что я, тоже уроженец юга, почти не простуживаюсь в Москве. Он был явно нездоров, когда выступал на открытии выставки в клубе Федерации писателей, посвященной двадцатилетию его работы.

Маяковский прочел вступление к поэме «Во весь голос». Мне показалось, что читать ему было трудно. Аудитория, как зачарованная, долго молчала.

— Это что, памятник? — спросил кто-то из публики.

— Да, памятник,— ответил Маяковский,— памятник.

Сказано это было грустным, необычным для него голосом. Тем не менее никому не пришло в голову, что мы скоро расстанемся с поэтом.

В последний раз я встретил Маяковского в коридоре Дома печати, он выглядел печальным, болезненным. Шея была завязана платком.

— Что с вами, Владимир Владимирович?

— Как видите, мучает грипп, фурункулез.

— Надо лечиться, может, в санатории, в больнице.

— Нет, это не для меня — скучно.

Это были последние слова Маяковского, которые я слышал. Он, действительно, не любил лечиться.

Трудно описать горе Москвы, горе и непонимание того, что произошло. Я на правах журналиста был в комнате клуба Федерации, где лежал прах поэта. Публику еще не пускали. Собрались близкие его друзья.

— Как мы все будем без Маяковского? Все равно что Москва без Китай-города.

Китай-города уже давно нет. Срыты его стены, и помнят о нем только историки и старожилы Москвы. Но неизменной осталась слава поэта. Строки его стихов вошли в нашу жизнь. Они известны теперь во всем мире, повсюду вдохновляют людей на борьбу за лучшее будущее, за коммунизм.

ОБЛИКИ ПОЭТА

1

Я встречал великого поэта в разные годы его недолгой жизни. В различных обликах предстал он передо мной. Я видел совсем еще юного крестьянского мальчика (ему было около двадцати лет, но он выглядел гораздо моложе своего возраста), робко, неуверенно читающего свои стихи, видел потом модного московского стихотворца, а еще позже — денди европейского стиля, в цилиндре, крылатке. Он так менялся, что порой его трудно было узнать.

Каких-нибудь десять лет с небольшим продолжалась его творческая жизнь. А сколько за это время создано было замечательных лирических строк, сколько передумано, пережито, перечувствовано...

Те, кто имел счастье встречать живого Есенина, помнят исключительное его человеческое обаяние, доброе отношение к людям. И в жизни он оставался поэтом. Он был красив, пленителен, нежен.

Я помню блеск его голубых глаз (они мне иногда казались карими), его речь, яркую и своеобразную, его любовь к шутке-прибаутке. Он любил людей и все живое, интересовался каждым человеком, его работой, его отдыхом. Было у него много друзей, действительных и мнимых. Всегда он был окружен людьми.

Было в нем что-то детское, озорное и в сравнительно зрелые годы. Это, пожалуй, придавало ему особую прелесть. Но окружающие не всегда понимали его поступки и, по-моему, не всегда разбирались в ходе его мыслей.

Он мог огорошить неожиданным, странным вопросом, поставить тебя в тупик, но потом смеяться вместе с тобой. Смеялся он каким-то особым, есенинским, смехом, напоминавшим звон колокольчика, я бы сказал «золотистым» смехом.

Относился он к людям всегда внимательно и просто, но не все это понимали и, случалось, держали себя с ним слишком панибратски, не всегда считались с его мнением и порой почти обижали его. Я и тогда удивлялся этому слишком фамильярному отношению к талантливому поэту. Называли его «Сережа», «Сереженька» даже люди не слишком близко его знавшие.

Конечно, его считали талантливым стихотворцем, но мало кто понимал при его жизни масштабы и силу его дарования. Я думаю, многие бы удивились, если бы им сказали, что это великий поэт. Правда, это признали очень скоро после его смерти, когда гроб с телом Есенина обнесли вокруг Пушкинского памятника и в траурных речах он впервые был назван национальным поэтом.

Хотелось бы вспомнить некоторые черты живого Есенина, до сих пор, мне кажется, малоизвестные.

Он очень любил свою деревню и деревенское детство, всегда восторженно о нем вспоминал.

К себе он относился очень строго. Критиковал свои поступки, свое поведение и в стихах, и в дружеской беседе.

И я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Почему «сгубивший молодость»? Он был крестьянским мальчиком, веселым, живым, чуть озорным. А затем работником типографии, одно время студентом, стремился к труду и знаниям. Да, в стихах (а иногда и в беседах) он был к себе слишком суров:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

Да, к себе он был очень взыскателен и строг, хотя это не всегда согласовывалось с его поступками.

Он рано стал популярен в Москве как поэт. И потому каждый не слишком его удачный шаг толковался вкривь и вкось. Ошибки ему не прощались.

Теперь, конечно, все это давно забыто. Он любим народом, давно стал классиком, но мне хотелось бы здесь говорить не о том Есенине, о котором я много читал, даже не о том, которого читал, а только о том, которого видел и с которым говорил.

2

Впервые я увидел его в Университете Шанявского. Это был в то время (1915 год) свободный университет в Москве, где могли учиться все желающие. Денег за обучение здесь почти не брали (кроме некоторых особых курсов), но преподавание велось на сравнительно высоком уровне. Сюда приходили люди, действительно стремившиеся к знаниям. Здесь два года учился Есенин, и университет несомненно сыграл роль в его культурном росте.

В этом университете часто бывали поэтические вечера (чего нельзя было себе и представить в императорском Московском университете). На одном из таких вечеров выступал с чтением своих стихов, выступал робко, неуверенно, мальчик с золотой копной волос, одетый в розовую крестьянскую рубашку, вышитую крестиком. Я хорошо запомнил и его костюм, и его внешний облик. Читал он стихи такие чистые, лирические и несомненно талантливые, что сразу обратил на себя внимание. Особенно хороши были стихи о деревенской природе.

— Как на свежий стог сена сел! — так характеризовал его чтение стихов один из слушателей.

Об этом молодом поэте я знал тогда мало. Даже фамилию его перепутал (мне показалось, что он Ясенин). Кто-то мне тогда сообщил, что он скоро переезжает в Петроград в связи с мобилизацией в армию.

В Университете Шанявского Валерий Брюсов читал в то время несколько странный курс — «Об Атлантиде и других исчезнувших цивилизациях». Не знаю, насколько эти лекции поэта были научно обоснованы, но они были для нас интересны, да и имя Брюсова, конечно, привлекало.

В конце каждой лекции поэт читал стихи, иногда свои, но чаще других поэтов. Однажды он прочел стихи молодого и, по его словам, исключительно талантливого поэта из крестьян — Сергея Есенина.

Есенин? Что-то знакомое. Не тот ли это молодой поэт, в розовой рубашке, вышитой крестиками, которого я совсем недавно слушал? Значит, и Валерий Брюсов (в то время величайший авторитет в области поэзии) признает его незаурядный талант.

3

Познакомился я с Есениным только через пять лет в Ростове. Пять лет... Но не равны ли они целому веку? За это время в корне изменилась не только жизнь, изменились чувства и сознание людей.

Я почитал себя поэтом. Писал стихи, подражательные, псевдоноваторские.

В то время энергично работал Всероссийский союз поэтов. Не только в Москве, но и во многих крупных городах существовали так называемые «литературные кафе», где выступали поэты. Поэзия в значительной мере была тогда устной. Печататься было трудно. Эти кафе стремились стать художественными центрами города, но обычно здесь было много от богемы, много нелепого, непонятного.

В Ростове литературное кафе именовалось «Подвалом поэтов». В этот «подвал» и приехали на гастроли гремевшие тогда в Москве имажинисты Есенин и Мариенгоф.

В первый же вечер у входа в наш «подвал» собралась большая толпа молодежи. Нет, не пестрые афиши, выпу-

щенные поэтами и не всегда понятные зрителю, привлекали ее.

Надо сказать, что я был несколько удивлен. В Ростове только в конце девятнадцатого года твердо установилась Советская власть. Железнодорожное сообщение было не очень регулярным. Книги доходили до нас трудно. А вот Есенина, хотя он написал тогда еще не так много — дело было в конце двадцатого года, — уже знали и любили. Многие его стихи переписывались, существовали «в списках». И, конечно, имя Есенина привлекло сюда многочисленную публику.

Он был встречен аплодисментами и выступал с большим успехом. Читал стихи очень выразительно и ярко, совсем не так, как мальчик в Университете Шанявского. Помню, как его заставили вторично прочесть стихотворение «Товарищ», по-видимому слушателям малоизвестное. Помню, как восторженно принимали некоторые другие его стихи.

Удивляло меня, что он всегда выходил на аплодисменты вместе с Мариенгофом. Тот тоже читал свои манерные стихи, но они успехом не пользовались.

Одеты они оба были почти в одинаковые костюмы, носили одинаковые шляпы и трости. Различие их талантов, их дарований было, конечно, ясно для всех, кто хоть сколько-нибудь разбирался в поэзии. И в то же время мне казалось, что Есенин во многом подчиняется своему другу, советуется с ним.

В «подвале» поэты питались не только в переносном, но и в прямом смысле: получали здесь обеды и ужины. Приходил к нам обедать и Сергей Есенин, тем более что он задержался в нашем городе (Мариенгоф уехал на Кавказ, по-видимому для организации там литературных вечеров).

Во время этих «трапез» я и познакомился с Есениным. Мне показалось, что он очень сердечно и искренно, без всякого зазнайства относится к местным поэтам, хотя он был уже тогда знаменит. Однажды он даже сказал о Москве: «Там все прах и суета». Потом, правда, слышали

из его уст и похвалу Москве: он говорил, что и Москву он очень любит. Иногда он сам себе противоречил. Во всяком случае, не всегда был последователен в своих суждениях. Но это не мешало окружающим. Я сразу оказался в плену этих поэтических бесед. Были они глубоко своеобразны, даже когда он говорил о вещах не очень значительных.

Был у меня в ту пору странный знакомый — поп-расстрига, учившийся в свое время в духовной академии, а теперь, представьте себе, с большим успехом занимавшийся антирелигиозной пропагандой. Он ведь хорошо знал всю «божественную кухню» не в пример многим другим агитаторам. Интересовался он и поэзией. Он меня попросил:

— Вы узнайте у Есенина, не происходит ли он из сектантской семьи. Его стихи напоминают сектантские (особенно хлыстовские) гимны. Бог в его стихах тоже не православный, а хлыстовский!

Я спросил об этом Есенина.

— Не в первый раз слышу такое,— сказал мне он.— Но в деревне, в детстве, юности, я никаких сектантов не знал. Не встречался с ними. Среди моих знакомых и друзей никаких сектантов не было. А с боженькой я давно не в ладах. Дед считал меня безбожником, крестился, когда меня видел. Как-то из озорства я отрезал кусочек деревянной иконы, чтобы разжечь самовар,— какой скандал был! Вся семья меня чуть не прокляла.

Несколько осмелев, я спросил его о взаимоотношениях с Мариенгофом.

— Толя мой друг. У него голова золотая. Он и советчик мой. Ему я первому читаю стихи, иногда исправляю по его указанию.

Мариенгоф был эрудированным человеком, но, надо думать, Есенин несколько преувеличивал его мудрость. Кроме всего, мне кажется, Мариенгофа он считал подлинным советским интеллигентом (несмотря на его спорные высказывания по вопросам искусства), не в пример таким прежним друзьям, как Иванов-Разумник или Клюев, не пре-

одолевшим еще всякие мистические и псевдонароднические влияния.

В нашем «подвале» стояли книжные шкафы. Там некоторые поэты хранили свои библиотеки. Однажды я застал Есенина, перелистывающего сочинения Байрона в громоздком издании Брокгауза.

— Вот,— сказал он,— говорят, замечательный поэт, а в переводе кажется скучным. Выучусь английскому языку и сам буду переводить Байрона.

Не знаю, говорил это Есенин всерьез или в шутку. Языкам он не учился даже когда жил за границей.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречает лаем у ворот, —

это как будто бы единственное упоминание знаменитого английского поэта в стихах Есенина.

Как-то во время обеда Есенин отрезал от мяса кусочки жира и аккуратно завернул их в бумагу.

— Это моим друзьям! — сказал он.

Я даже сразу не понял, что это за друзья, подумал — беспризорные. Он вышел во двор, и со всех сторон с приветливым лаем сбежались его четвероногие друзья.

Оказывается, «легкую походку» поэта знали не только московские, но и ростовские его четвероногие друзья (по сведениям В. Рождественского, и ленинградские).

Позже я очень удивился, когда знаменитый дрессировщик Владимир Дуров сказал, что есть люди, которых животные особенно любят. И среди этих людей (в большинстве своем дрессировщиков, ветеринаров) он назвал поэта Сергея Есенина.

4

В 1922-м и 23-м годах я жил уже в Москве и там часто встречал Есенина. Видел его и в Доме печати, и в литературных кафе («Домино», «Стойло Пегаса»). Как всегда он был окружен народом, но при этом умел находить время

поговорить с каждым человеком, и поговорить «по душам». Меня он поздравил с переездом в столицу, а узнав, что я работаю в «Рабочей Москве» репортером, очень подробно расспрашивал о редакции, о газете, о царящих там нравах и обычаях.

Он очень возмутился, узнав, что репортеры работают только по заданиям редакции.

— Как это можно! — сказал он.— Когда пишешь, должен сам придумывать, должен знать, что писать.

Я пытался возражать, что, мол, это не художественная литература, а пресса.

— Ну так что ж,— сказал Есенин,— и в прессе должен быть дух живой. И пресса не должна быть скучной. Вот сделали бы опыт, дали бы мне хоть один-два номера газеты, я и мои товарищи написали бы всю газету стихами.

— Всю газету?

— Да, всю, и политические новости, и хронику, и фельетоны, и международную информацию.

Меня поразили эти слова поэта. Я решил, что он шутит.

Но через несколько дней он вернулся к этой теме и даже нарисовал своеобразную утопию (если только это можно назвать утопией). По его словам, должно повыситься значение поэзии в жизни людей.

— Вот публика наша через год-другой станет образованной. Много, много будет тогда поэтов, и будем мы между собой говорить стихами.

— Как, и в жизни?

— Да. Сейчас это вас удивляет, а тогда никого не удивит.

— Будет, значит, так, как в стихотворной драме — диалог поэтов?

— Вроде.

Я вспомнил, что моя не слишком образованная бабушка, когда один из ее сыновей приехал из университета, спросила у него: «А стихи тебя научили писать?»

— Что же, бабушки иногда бывают правы,— сказал

Есенин.— Научиться писать в рифму, конечно, можно. Но ведь это будет стихоплетство, а не настоящая поэзия.

В те дни я еще тяжело переживал свои неудачи в области поэзии. Считал себя поэтом, усердно писал стихи, выпустил на периферии две плохие книги. Но все же сомневался и надеялся. Тогда я обратился с письмом к самому Валерию Яковлевичу Брюсову. Он мне ответил очень вежливо, но не очень утешительно. Довольно подробно объяснил, почему, по его мнению, я не подлинный поэт. (Это письмо я хранил довольно долго. Оно было утеряно только во время войны в эвакуации.)

Я рассказал это Есенину.

— Конечно, печально,— сказал он,— но мне кажется, что лет через десять-двадцать люди станут образованней и в стихах будут лучше понимать. Тогда будет другое дело.

К некоторому моему удивлению, к этой теме Есенин вернулся и при новой нашей встрече.

— Может быть,— сказал он,— я преувеличиваю. Все писать стихи, конечно, не станут. «Стихотворной драмы», конечно, не будет, но, мне кажется, будущие люди будут передавать стихами самое важное — например, объяснение в любви или философские мысли, мысли о жизни.

Я рассказал Есенину о том, что известный адвокат 90-х годов прошлого века С. Андреевский (он был также поэтом и критиком) произнес одну из своих защитительных речей стихами. Публика плакала, подсудимый был оправдан.

Есенину эта история очень понравилась (она нигде не зафиксирована, я слышал ее не раз от лиц старшего поколения).

— Вот видите! — сказал он.— Повысится значение поэзии в жизни.

Встречал я в те дни Есенина и в домашней обстановке, у одной дамы, которой он симпатизировал.

Был он здесь очень тихим, мягким, лиричным. Иногда

стихи читал, но совсем не так, как с эстрады, гораздо более интимно, и читал неожиданно, без особых просьб.

В этой квартире сохранился самовар, тогда уже редкий в городском быту. Есенин очень обрадовался, его увидев.

— Позвольте,— сказал он,— я сам его поставлю, приготовлю.

Очень радостно он возился с самоваром. Сам его принес в комнату. И мы пили чай из самовара, поставленного великим поэтом.

— Самовар,— сказал он,— патриарх деревенской семьи!

Недаром со своей матерью в деревне он тоже сфотографирован у самовара.

Есенин любил рассказывать эпизоды из своего деревенского детства. Не такие уж они были необычайные, но рассказывал он их замечательно.

Вот, например, как ребята водили ночью купать лошадей.

— Мчаться на неоседланном коне к озеру,— говорил Есенин,— величайшее удовольствие. Не знаю даже, с чем его сравнить. Ветер дует тебе в лицо, месяц светит с улыбкой. Надо понять эту улыбку месяца. Ведь он улыбается...

Или другая история — о том, как ребята воровали яблоки в соседнем саду. Появился хозяин, да еще с палкой. Все убежали, а вот Сережа запутался, повис на ветке и узнал силу соседской палки. Было больно? Да нет, не очень, больше смешно. Никак не мог распутать свою рубашку, все на ветке висел...

Несколько позже видел я поэта вместе со знаменитой Изадорой, как он ее называл,— после возвращения из-за границы. Зрелище было не очень приятное. Старая, усталая танцовщица (по-моему, к тому времени она уже давно перестала быть новатором в искусстве) и молодой еще, какой-то растерянный поэт. Модный европейский костюм явно был ему не к лицу. «Я переряженный»,— сказал он одному из моих знакомых.

В последний раз я встретил Есенина уже осенью

1925 года. Он был явно болен, и болен, по-видимому, тяжело. Черные тени легли на его лицо. Он шел не без труда, волочил левую ногу. Лечиться он, конечно, не любил. И кажется, недавно бежал из больницы. Было такое впечатление, что мало кто заботится о его здоровье.

Я встретил его на Тверской недалеко от Центрального телеграфа. Зашел вместе с ним на телеграф, думал, что он собирается дать телеграмму. Но он робко сел где-то в стороне. Беседа не клеилась. Я попрощался и вышел.

Недалеко от телеграфа находился тогда Всероссийский союз поэтов. Его председателя И. Аксенова (в то время популярного поэта и переводчика, теперь совсем забытого) я застал в его кабинете.

— Что с Есениным? — спросил я.— По-моему, он тяжело болен, нужно немедленно его лечить. Я, конечно, не знаю, как приступить к этому делу. Вы должны что-то делать.

— Он недавно женился на внучке Толстого, пусть она о нем и заботится.

— Самого Толстого не уберегли,— сказал сидевший рядом с Аксеновым неизвестный мне человек.

Я был поражен. Кажется, уж кто-кто, а Всероссийский союз поэтов должен интересоваться судьбой Есенина, его жизнью, здоровьем. Но трагической развязки я все же не ждал...

5

Конечно, нужно верить слову поэта. Но можно ли считать, что каждое слово, написанное им,— святая истина, что в жизни было так, как он писал, до мелочей, до деталей? Вот ведь если прозаик говорит даже от первого лица, никому не приходит в голову, что все написанное — о нем самом. А у большого лирического поэта?

Когда умер Есенин, все были уверены, что он был в Персии. Что он там написал замечательные «персидские» стихи. Никто даже не сомневался в этом. Я помню, уже

позже Лев Осипович Повицкий, человек, одно время близкий к Есенину (ему Есенин посвящал стихи), недоуменно спрашивал: «Когда Сережа успел съездить в Персию? Не понимаю, когда...» Он встречался с Есениным в Закавказье. Оказалось, что именно там созданы были «Персидские мотивы».

А кто станет слепо верить «разбойничьей» лирике Есенина? А ведь называл он себя «разбойником» и «конокрадом» и даже «стоял с кистенем в степи», как полагается классическому разбойнику XVII века.

А есенинское «хулиганство»? В хулиганы здесь попадает не только ветер («плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган»), но и Пушкин («О, Александр, ты был повесой, как я сегодня хулиган»). Это «хулиганство» — поэтическое. И в «Москве кабацкой» тоже сколько угодно выдумок, преувеличений, фантазий. Не мог, конечно, Есенин «с бандитами жарить спирт» (да и никаких бандитов среди его близких знакомых не было). Не мог читать проституткам стихи всю ночь...

Различные облики принимали поэты разных стран и разных эпох. У Есенина в иных стихах возникал образ этакого разгульного гуляки, которому в жизни все «трын-трава». Таков был его лирический герой, но не таков был сам поэт. Это подтвердят все знавшие Есенина. Он был строг к себе, свои человеческие недостатки не прощал, оценивал их порой очень резко. У него была большая совесть поэта, совесть гения. Окружающие не всегда это понимали и многое упрощали в его поведении. Относились к нему подчас не очень серьезно. Оттого одно время был затуманен и извращен облик поэта.

Я рассказал то, что знал и помнил о Есенине-человеке. Это был человек очень сложный, тонко чувствующий, легко ранимый, стремящийся к большой дружбе и порой не подпускающий к себе людей особенно близко. Таков он был в жизни и таким остался в памяти тех, кто имел счастье его знать.

ЕГО МОЛОДОСТЬ

1

Я был не очень доволен, когда узнал, что со мной хочет познакомиться заведующий отделом печати крайкома товарищ Булыга. Дело было в Ростове в 1926 году (город тогда был центром Северо-Кавказского края).

Честно говоря, я ждал проработки. В самом деле, я ведь выступал на страницах газеты «Молот» почти ежедневно. Был чуть ли не единственным сотрудником отдела культуры. Писал о театре и кино, в которых хоть что-то понимал, о краеведении и археологии (в то время в нашем крае велись большие археологические раскопки), в которых старался разобраться, о живописи, в которой понимал мало, даже о музыке, в которой ничего не понимал.

За большим столом в отделе печати никого не было. И только в углу у шкафа какой-то, как мне показалось, мальчик рылся в газетных комплектах.

— Вы не знаете, где товарищ Булыга?

— Булыга — это я. Садитесь, рад познакомиться.

С первых же слов я почувствовал доброжелательный, дружеский тон... Да, он выглядел еще мальчиком, я потом удивился, узнав, что ему все же было двадцать четыре года.

Меня удивила его большая эрудиция в вопросах литературы, да и вообще культуры, и, главное, внимательное и доброжелательное отношение, умение считаться с чужим мнением.

За некоторые оплошности он критиковал меня, но критика была преподнесена в такой форме, что в ней не было ничего обидного.

Несколько неожиданно для меня товарищ Булыга заговорил о моих стихах. Две тощие книжки этих стихов — посредственных и, конечно, формалистических — вышли в Ростове и Харькове еще в самом начале двадцатых годов. В двух сборниках я печатался с так называемыми «ничево-

ками», и меня поэтому считали «ничевоком», хотя на литературных диспутах я выступал против этих «ничевоков» довольно резко. Товарищ Булыга все это знал.

Я сказал ему, что уже два с лишним года стихов не пишу, оттого что понял, что я не настоящий поэт.

— И так у нас водопад стихов, я не хочу быть графоманом!

— Ну, знаете,— сказал он,— так тоже решать нельзя, может, вы к этому еще вернетесь.

Он говорил восторженно, иногда, мне казалось, почти по-детски. Очень радовался успехам местных поэтов. Я знал, что эти успехи не бог весть какие, но было приятно, что этот человек — официальный руководитель, начальник — так доброжелательно относится к людям, искренне ценит чужие достижения.

— Почему,— спросил он,— вы не бываете на собраниях Северо-Кавказской ассоциации пролетарских писателей?

— Да ведь я беспартийный и не пролетарского происхождения.

— Ну вот, какая ерунда! Мы стремимся объединить вокруг нашей Ассоциации все литературные силы, и рабочих, и крестьян, и горцев, и интеллигенцию. Не все товарищи со мной согласны, но, кажется, мое мнение восторжествовало. Скоро выйдет журнал «Лава», это первый литературно-художественный журнал в нашем крае, и я приглашаю вас сотрудничать в нем.

Товарищ Булыга жаловался, что в городе трудно доставать книги, Публичная библиотека почему-то надолго закрыта, а остальные библиотеки слишком специальные. Я пригласил его пользоваться моими книгами. Он несколько раз заходил ко мне, был исключительно аккуратен и требовал, чтобы я записывал, какие книги он взял и когда принесет.

И я бывал у него. Занимал он маленькую комнату (думаю, метров восемь-девять, не больше). Кроме кровати, стула и стола, в комнате ничего не было.

— Все мое имущество,— сказал он,— помещается в чемодане.

Укрывался он простой солдатской шинелью.

Комната была расположена высоко, и оттуда открывался красивый вид на Дон и задонские степи.

Не сразу узнал я, что он участник гражданской войны на Дальнем Востоке. Дважды был ранен, кажется, довольно тяжело. Но сам он никогда не говорил об этом, не хвастал своими подвигами. В общем, я почти ничего не знал о нем, даже настоящей его фамилии не знал.

Один старый журналист познакомил меня с интересной повестью некоего Фадеева «Разлив». Во время одной из бесед с товарищем Булыгой я спросил, знакома ли ему повесть Фадеева «Разлив». Он ничего не ответил, только засмеялся, но я, разумеется, не понял значения этого смеха, даже немного обиделся.

Вскоре после этого я узнал, что настоящая фамилия Булыги — Фадеев, что он писатель и некоторые его произведения вышли в Москве.

А затем я получил приглашение от самого Булыги на чтение и обсуждение отрывков из новой его повести «Враги».

Я встретил Булыгу еще до этого обсуждения, сказал ему, что название вряд ли удачное. Ведь есть пьеса Горького с тем же названием. Кстати, пьесу эту тогда мало знали. В царское время она была запрещена, а в первые годы революции тоже почти не издавалась и ставилась редко.

— Да,— сказал он,— надо подумать!

Не знаю, насколько мои слова повлияли на его решение изменить заглавие. «Враги» были первым вариантом «Разгрома».

На чтение собралось очень много народа. Накануне этого в газете «Советский Юг» была помещена статья молодого тогда критика Юзовского, посвященная новой работе Фадеева. Это, по-видимому, и привлекло внимание.

По-моему, первый вариант повести сильно отличался от

законченной книги. Он работал над ней еще долго, во всяком случае все время, пока жил в Ростове, хотя отдельные отрывки были уже напечатаны.

В ходе обсуждения высказывалось немало критических замечаний, порой довольно резких. Однако Фадеев не обижался и благодарил товарищей за творческую помощь. Впоследствии он мне говорил, что переделывает много и некоторые переделки подсказаны ему критиками.

Интересно отметить, что на чтении присутствовал один из героев повести. Правда, сам Фадеев об этом не говорил, но многие обратили внимание, что у его Морозки есть черты Саши Бусыгина, нашего общего друга. Это был рабочий парень, не очень еще грамотный, но уже начинающий свой литературный путь. Правда, он никогда не был на Дальнем Востоке, а вырос в железнодорожном ростовском предместье Темерник. И все же этот Саша очень напоминал героя Фадеева. В конце концов и автор признал, что многие черты Саши Бусыгина перенесены на образ Морозки.

Сложились необычные взаимоотношения между автором и его героем. Фадеев написал предисловие к первой книге Бусыгина «Поселок Кремлевка». Он благословил этого рабочего юношу на новом трудном пути. До войны Бусыгин выпустил несколько книг, стал популярным писателем на Северном Кавказе. Думаю, что, если бы не гибель на фронте, он вышел бы на широкую литературную дорогу.

2

Был у Александра Александровича Фадеева талант, может быть, более редкий, чем талант литературный,— это талант литературного организатора и литературного первооткрывателя. Позднее, когда Фадеев стал известным писателем, а затем руководителем литературной организации, это стало особенно ясным. Но в ту пору, о которой идет речь, он был еще совсем молод, а выглядел еще моло-

же. Внешний облик тоже играет свою роль. И при всем том его уважали, уважали даже люди солидные, бородатые, седые. Это отчетливо сказалось на собрании поэтов северокавказских народов, созванном по его инициативе, где его окружали старики сказители, народные поэты. Один из них, адыгейский сказитель Казым-оглы, посвятил ему особую песню.

Нелегко было добиться такого доверия и уважения. Надо сказать, что в то время некоторые партийные работники считали, что занятие литературой — дело не столь важное, барское дело. Но Фадеев находил поддержку в партийных органах края, особенно помогли ему товарищи А. Микоян и Р. Землячка. При их содействии он собрал литературные силы, создал местную организацию пролетарских писателей, а затем журнал «Лава».

Вначале этот журнал имел совсем небольшой тираж, но тираж рос с каждым годом. Фадеев скоро стал признанным организатором литературы края. Правда, официальным председателем Ассоциации считался Владимир Киршон, но все знали, что настоящим главой объединения был Фадеев.

Киршон был очень талантлив, блестящий оратор и полемист, но это был человек по-своему ограниченный и очень самолюбивый.

«Вильям Киршон» — так шутя его называли после первых драматургических успехов — думал, что только партийцы и рабочие от станка могут быть пролетарскими писателями. А Фадеев считал, что тогдашняя пролетарская организация писателей, особенно на периферии, должна стать центром, объединяющим все литературные силы. Его точка зрения восторжествовала.

Я уже говорил, что у него был особый талант. В первых корреспонденциях не очень грамотного тогда драгиля (так назывались на юге возчики тяжестей на подводах) Кирпичникова он почувствовал незаурядное литературное дарование, помогал ему учиться, поступить на рабфак. А тот рос не по дням, а по часам. Это был впоследствии

известный всей стране писатель и очеркист Владимир Ставский, один из секретарей Союза писателей, редактор «Нового мира». Как известно, он погиб во время войны.

В первых же стихах пятнадцатилетнего мальчика, подмастерья у сапожника, Григория Каца, Фадеев тоже сумел разглядеть литературные способности. Он неустанно следил за его развитием. Григорий Кац стал популярным на Северном Кавказе поэтом. Он погиб в дни войны.

Фадеев выдвинул техника Шуклина, даровитого поэта и талантливого скульптора, автора барельефа Ленина на Красных камнях в Кисловодске. Он обратил внимание на стихи крестьянки Марии Ершовой, работавшей батрачкой у кулака. Ее стихи были высоко оценены Маяковским. К сожалению, она была очень больна и серьезно работать не могла.

Я помню, как в редакции журнала «Лава» какие-то молодые поэты настойчиво требовали, чтобы их произведения обязательно прочел товарищ Булыга, он уже тогда был для них литературным авторитетом.

Фадеев отыскивал писателей и среди своих товарищей журналистов (он одно время заведовал партийным отделом в газете «Советский Юг»). Двое из них, тогда репортеры ростовских газет, потом достигли всесоюзной популярности. Это были люди совсем разные и по манере письма, и по своим человеческим судьбам. Речь идет о Н. Погодине (тогда еще Стукалове) и о Ю. Юзовском. В репортере Погодине он почувствовал талант очеркиста. Первые очерки Николая Погодина были напечатаны в газете «Советский Юг» при содействии Фадеева, а материалы очерков легли затем в основу его пьес. Знаменитый драматург впоследствии говорил мне, что он многим обязан Фадееву. Что же касается Юзовского, известного критика, то еще в студенческие годы он дружил с Фадеевым, начал печататься при его содействии, и первые его критические статьи были напечатаны в журнале «Лава». Ему

принадлежат и первые серьезные статьи о творчестве Фадеева.

Следует отметить, что, собирая литературные силы, Фадеев привлек к работе и старых писателей, когда-то работавших в Ростове и на Северном Кавказе. Речь идет о Льве Пасынкове и Борисе Оленине. Лев Пасынков — дореволюционный писатель, автор романтизированных повестей из жизни кавказских горцев. Когда-то он был довольно популярен. Одно время он сотрудничал в белогвардейской прессе, и Фадееву стоило немалого труда убедить некоторых уважаемых товарищей, что это сотрудничество было не слишком серьезным. Писал он бытовые очерки (больше для заработка), а не политические статьи. Впоследствии несколько книг Пасынкова вышли в Ростове и в Москве, одна из них была высоко оценена Горьким.

Что же касается Оленина, то он был поэтом, старательно подражал Брюсову и Блоку, выпустил несколько книг посредственных стихов. Основным его занятием было изготовление кефира, и в городе его шутя называли «кефир-поэтом».

Фадеев и ему нашел дело: он писал теперь романы с продолжением для советских газет и исторический роман из времен Шамиля.

В последних исследованиях о Фадееве уделено сравнительно большое внимание ростовскому периоду его жизни, но недостаточно показана тогдашняя литературная среда и огромное влияние Фадеева на местных литераторов. Он умел учить людей и сам у них учился.

Я знаю далеко не всех его выдвиженцев. Недавние краснодарские публикации говорят еще о ряде товарищей, дарование которых было угадано Фадеевым и которым Фадеев помог встать на ноги. Это поэт П. Арский, юморист Л. Ленч, киносценарист М. Блейман и, наконец, что самое интересное, молодая очеркистка Вера Вельтман. Настоящее имя Веры Вельтман — Вера Федоровна Панова. Слишком поздно узнал я это, уже после смерти Веры Фе-

доровны, и не имел возможности ее об этом расспросить.

Два лета Фадеев вместе с Бусыгиным и Кацем провел в Нальчике. Позже Бусыгин рассказывал, что там Фадеев много беседовал с кабардинскими прозаиками и поэтами, близко к сердцу принимал судьбы многих из них. Таким образом, его благотворное влияние распространялось не только на русскую литературу.

3

Каковы были литературные вкусы и взгляды молодого Фадеева? Прежде всего, он преклонялся перед Львом Толстым. Великий писатель был для него огромным авторитетом. Однажды Фадеев мне сказал:

— Я слишком нахожусь под его обаянием, не знаю, чего тут больше, пользы или вреда. Это порой мешает мне быть самостоятельным.

Из западных писателей он очень высоко ценил тогда Эмиля Золя. Помню, он делал доклад на собрании пролетарских писателей, говорил об изображении рабочей жизни в литературе и в качестве примера идеального знания рабочего быта назвал «Жерминаль» Золя. Он цитировал отрывки из этого романа, говорил, что мы должны знать быт наших рабочих так, как знал Золя быт французских рабочих.

Надо сказать, что в то время еще не было новых переводов западных писателей, читали их в старых изданиях, в переводах часто дословных, иногда уродливых, с большими пропусками. Это мешало правильно воспринимать произведение. Фадеев мне тогда говорил, что Стендаль и Мериме не всегда до него доходят.

Помню его беседу с одним молодым писателем, который пробовал писать рассказы. Он ему рекомендовал читать не только Лескова и Чехова, но и Бунина. Это меня удивило. Бунина тогда знали мало, он был эмигрантом, относились к нему с опаской. Выяснилось, что сам Фадеев

только недавно прочел Бунина по старому «нивскому» собранию сочинений, и рассказы Бунина произвели на него большое впечатление.

Тогда же он мне сказал, что впервые прочел всего Шекспира. Не все понятно, многое чудовищно, но все это замечательно и грандиозно. Только люди тогда, пожалуй, были совсем иными, чем сейчас.

Не раз спорил он с Киршоном и Ставским. Они считали, что, конечно, пролетарские писатели должны быть знакомы с классиками, но, так сказать, в порядке самообразования. Он же доказывал, что великие произведения литературы органически связаны с сегодняшним творчеством и без освоения классиков невозможен литературный процесс, невозможно и новое пролетарское творчество. Кажется, он их убедил. Во всяком случае, это был спор живой и интересный.

Я не видел Фадеева около четверти века после отъезда его из Ростова в 1926 году. В декабре 1950 года, в очень трудное для меня время, я был вызван Фадеевым в Москву в Союз писателей.

Конечно, он стал более солидным, выдержанным, строгим. Но остались еще некоторые черты Саши Булыги, его доброе отношение к людям, которое теперь он внешне как бы скрывал. Со своими сотрудниками он порой обращался довольно резко, любимым его выражением было «оторву голову». Но голов он не отрывал, и все знали, что он человек добрый, внимательный.

Он был теперь руководителем всесоюзной писательской организации и много делал для процветания родной литературы. Он заботился о людях, помогал литераторам, большим и малым.

Светлый образ Фадеева, выдающегося писателя и замечательного человека, всегда будет любим народом, он оставил яркий след в истории советской литературы.

Он мне делал замечания, очень строгие: во-первых, я играю в теннис. Он сам это видел, и этого не скроешь (я скрывать не собирался). Теннис, как известно, классово-враждебная игра, забава английских лордов. Затем, я целую у девушек руки. Лучше бы целовал губы. Я согласился, что это было бы лучше, но не всегда возможно. В своих преступлениях я признался полностью.

Недавно он был драгилем — на юге так называли ломовых извозчиков. Дело это тяжелое, требующее ловкости и умения. Правда, до этого он работал квалифицированным рабочим-металлистом. Но его где-то обидели и работу он оставил.

Уже его первые, очень еще робкие и наивные корреспонденции обратили внимание Фадеева. «Из него, пожалуй, выйдет интересный литератор. Думаю, не ошибаюсь»,— говорил тогда Александр Александрович в редакции газеты «Трудовой Дон». Скоро по рекомендации Фадеева он стал заведовать рабселькоровским объединением этой газеты. Интересно отметить, что первый его псевдоним был «Возчик».

Он был молод, простоват. Первое время даже кичился своей недостаточной образованностью. Мы, мол, люди неученые, природные пролетарии, всяких там тонкостей не знаем. Фадеев его высмеял довольно резко, а Александр Александрович был для него незыблемым авторитетом.

И вот Володя Кирпичников начал учиться. Поступил на рабфак и стал очень быстро меняться. Выяснилось, что с детских лет он много читал, но знания, приобретенные чтением, были у него какие-то пестрые, неорганизованные.

Вскоре после поступления на рабфак Володя женился. Клава, женщина не очень красивая, но необыкновенно милая, была учительницей. Она благотворно влияла на мужа. Под ее воздействием он стал учиться особенно старательно и внимательно. Да и преподаватели рабфака сразу обратили внимание на исключительно способного ученика.

В ту пору он был красив, умело носил кубанку, черную рубашку с серебряным поясом. Был только несколько грузным. В обхождении был резок. Сдерживать себя не умел, был не всегда терпим к чужому мнению и умел отстаивать свое.

На моих глазах он рос, как богатырь в сказке. Стал интересоваться литературой, историей, философией. Часто теперь говорил о том, что настоящий партиец должен хорошо знать историю развития человеческой мысли. А ведь еще недавно почти кичился своей необразованностью.

Его квартира в центре Ростова стала местом, где собирались поэты, прозаики, преподаватели университета. Там было интересно и весело, много спорили. Сам хозяин хорошо пел русские песни. Клава темпераментно плясала. Она с успехом выступала в самодеятельности, я был свидетелем того, как режиссер местной оперетты предлагал ей идти на сцену, но она только смеялась. Она любила свою учительскую профессию и не собиралась ей изменять.

Помню я и прогулки в степи, где пели хором. Бывали здесь и актеры, они находили, что у Володи очень хороший голос, бас, и ему надо учиться петь. Он был и прекрасным танцором, и отличным рассказчиком. Но литература влекла его сильнее всего. Писать ему на первых порах было не легко. Я очень удивился, когда увидел у Володи словарь Даля. Клава приобретала серьезные книги и учила его пользоваться ими. Вообще, я заметил, что этот мужественный, грубоватый и резкий человек теперь часто краснеет. По-видимому, Володя чувствовал себя неловко от того, чем раньше гордился. Он, например, очень стеснялся своей татуировки, но спрятать ее было трудновато.

Свои очерки он стал вскоре подписывать псевдонимом «Ставский».

Помню беседы с Володей после его первой поездки в Москву. Он с интересом говорил о памятниках старины, но наибольшее впечатление на него Москва произвела как великий центр культуры, культуры советской, культуры наших дней. Тогда он сказал мне, что мечтает жить в Москве

и надеется, что эта его мечта осуществится. Он умел добиваться своего.

В ростовском большом, так называемом Машонкинском, театре проходил общегородской вечер самодеятельности. Выступали там коллективы и отдельные исполнители, частью без предварительной записи. В публике оказались поклонники Володи как танцора и певца, и они настойчиво требовали, чтобы он тоже выступил.

— Стоит ли? — обратился он ко мне.

Затем спросил совета у еще одного товарища. Пел и танцевал он с успехом. Я должен был писать об этом вечере отчет в газете «Молот».

— Я похвалю тебя,— сказал я ему.

— Только пиши «Кирпичников», не «Ставский».

Своим литературным именем он, видно, очень дорожил.

Рассказывал он увлекательно, даже порой слишком увлекательно, так что не всегда хотелось верить. Много вспоминал о еще совсем тогда недавних годах гражданской войны. А ему было что вспомнить. Он работал в тылу у белых — у Колчака, в Уфе и Тюмени, а затем у Врангеля, в Крыму. Не я один удивлялся, как это Володя Кирпичников, простой рабочий, выдавал себя то за студента, то за офицера. Приключения его порой были очень занимательными, но напоминали похождения матроса Шванди из только что поставленной тогда пьесы К. Тренева «Любовь Яровая».

Мы, его слушатели, сомневаясь в его рассказах, по-видимому, ошибались. Дело в том, что у нас было неверное представление о белогвардейском офицерстве. Кадровых офицеров в белой армии было не так уж и много, офицеров из интеллигентов тоже. Большинство составляли те офицеры последних предреволюционных лет, о которых пели в частушках:

Был я раньше дворником
И звался Ванюшка,
А теперь я прапорщик
И военный душка.

Так что наш Володя мог играть роль белогвардейского офицера, даже не скрывая своей татуировки. Но как бы там ни было, его работа разведчика была героической и продемонстрировала ловкость, умение ориентироваться в очень трудной обстановке.

— Ты бы записал свои рассказы,— сказал я ему,— может получиться очень интересный приключенческий роман.

— Я уже думал об этом, да не хватает времени и усидчивости. Помоги мне!

Правда, больше с такой просьбой он ко мне не обращался, а мне напоминать было неудобно. Да и сам он, вообще-то говоря, описал свою подпольную работу в ранних рассказах, вышедших еще в Ростове, а затем в повести «Сильнее смерти».

Скоро он уехал в большую поездку по Дону, а потом через полгода на Кубань как корреспондент газеты «Молот». Корреспонденции его были очень интересны, красочны, правдиво изображали жизнь донских станиц накануне коллективизации.

Однако в редакции недоумевали. Он присылал очень интересные корреспонденции, но задерживался подолгу, это вызывало удивление редакционных работников, его ругали. Помню, как заместитель редактора газеты «Молот» с удивлением спрашивал:

— Где этот Ставский?

Пытались жаловаться на него в краевые организации, но там только смеялись:

— Он на местах гораздо нужнее, чем у вас в редакции.

Таков был отзыв о его работе.

Да, он не мог быть только наблюдателем. Это был человек слишком яркого, бурного темперамента. Замечая всяческие неполадки, расхлябанность местных властей, кулацкое влияние, еще значительное в некоторых станицах, он активно включался в работу. Он был активным организатором, умел объединять людей. На местах он основал новые органы печати («Сельский пахарь» в Сальском округе, «Красный шахтер» в Шахтах). Особенно интерес-

ной и действенной оказалась для него поездка на Кубань, где он активно включался во все местные дела, вел борьбу с кулачеством.

Вместе с тем он рос как журналист и писатель, на материале его кубанских очерков созданы были книги «Станица», «Разбег», несколько позже — «На гребне». Это были выдающиеся произведения, созданные на очерковом материале. Он описывал не только станичную жизнь, но и свою собственную борьбу за все новое, передовое в кубанской деревне.

Мы встретились с ним в Москве. Я писал тогда рецензии и очерки в газете «Вечерняя Москва».

— Читаю твои заметки,— сказал он мне.— Жду большего!

Меня поразили эти его слова, но потом я узнал, что он секретарь Оргкомитета будущего Союза писателей и посему ему надлежит интересоваться каждым литератором, большим или малым.

— Все то, что ты пишешь,— сказал он мне,— как-то несерьезно. Ты человек интеллигентный, образованный, сам должен знать, что в нашем деле нужна усидчивость, выдумка, фантазия.

Скоро он мне позвонил:

— Нужна твоя помощь. Какой-то Павлюченко переделал «Разбег» в пьесу. Я в этих театральных делах слабо разбираюсь. Что-то мне не очень понравилось, прочти, пожалуйста.

Меня переделка тоже не до конца удовлетворила, но я узнал, что спектакль в театре Красной Пресни (бывшая четвертая студия МХАТ) будет ставить Николай Охлопков. Это была его первая самостоятельная постановка в Москве. В мейерхольдовском театре характеризовали его как исключительно талантливого актера и режиссера. К тому же ряд интересных постановок осуществил он у себя на родине, в Иркутске. Все это я рассказал Ставскому. Тогда Охлопкова еще мало знали. Ставский дал согласие на постановку.

Один из актеров театра говорил мне о Ставском: другие авторы досаждают своими советами и указаниями, а этот пришел раз на репетицию, все время молчал, а когда у него спросили, сказал: «Не очень я компетентен в этих делах. Делайте, как хотите».

Это был замечательный спектакль, оставивший след в истории советского театра. Первый большой успех Николая Охлопкова как режиссера в Москве.

Маленькое помещение театра (не только сцена, но и зрительный зал) было превращено в цветущий кубанский сад. Художник создал замечательный пейзаж, редкий в театре. Очень конкретно передавались условия сельского быта в годы коллективизации.

Когда я спросил у Ставского о его впечатлениях, он сказал:

— Здорово! Благодарю и тебя и многих товарищей, рассказавших мне об искусстве Охлопкова. А то уж был такой момент, когда я думал задержать эту постановку.

Ставский говорил мне, что Охлопков настаивает на том, чтобы он и впредь писал для театра.

Он написал пьесу «Суховей». Я читал еще ее черновой вариант. Пьеса, построенная на кубанском материале, изображающая дни засухи в одной из станиц, мне показалась интересной. В ней были яркие характеры, напряженное действие. Как будто бы Охлопков собирался ее поставить. Но у Ставского были высокие требования к своему творчеству. Он добился того, чтобы с пьесой познакомился Горький. Горький указал на ряд недостатков. Требовалась существенная переделка. Заниматься ею времени не было.

В Москве высоко оценили не только его литературный талант, но и исключительные способности организатора. После смерти Горького Ставский был генеральным секретарем Союза писателей, затем стал редактором журнала «Новый мир», его избрали депутатом Верховного Совета СССР. Работал он как всегда с энтузиазмом. Оказывал помощь людям, в том числе молодым писателям и журналистам.

Я переехал тогда в Ленинград и встречался с ним сравнительно редко. Однажды увидел его, и он мне сказал:

— Некоторые наши писатели говорят, что здесь, в городе Ленина, сама обстановка способствует литературному труду. Вот собираюсь приехать к вам, засесть на два-три месяца, нужно закончить две пьесы, повесть, очерки.

Но сделать это ему не удалось. Вскоре начались его новые боевые подвиги. Происходило примерно то же, что и несколько лет назад на Дону. Он отправлялся корреспондентом, но невольно становился бойцом, участником гигантской борьбы за счастье пролетариата и за народное право. Так было в Испании, куда он приехал в 1936 году на Всемирный съезд защиты культуры. В окрестностях Мадрида он принял участие в боевых действиях. По авторитетному сообщению А. Толстого, он бывал в окопах, одно время заменял раненого испанского офицера. По-видимому, в то время об этом не полагалось писать.

Примерно то же происходило позже на Халхин-Голе, а затем в дни финской кампании. В последний раз я видел его тяжелораненым в госпитале Военно-медицинской академии в Ленинграде. Рассказывали, что он приехал на фронт как корреспондент газеты, но не выдержал и в тяжелый момент повел в атаку батальон 19-го стрелкового полка. Правда, о своих подвигах он предпочитал не говорить. Но несмотря на тяжелое ранение, был очень весел, интересно рассказывал о событиях на Халхин-Голе, о своих беседах с монгольскими интеллигентами, а также о писателях Лапине и Хацревине, с которыми он там встречался. Скоро его увезли в Москву.

Владимир Петрович Ставский погиб смертью героя в Великую Отечественную войну, в 1943 году. Написанные им военные корреспонденции и очерки, собранные в книгу «Фронтовые записки», были в дни войны широко известны. Конечно, Советская страна отметила память писателя-героя: в Великих Луках, где он похоронен, одна из улиц названа его именем. По Дону ходит теплоход «Владимир Ставский».

Но как писателя его начинают забывать, мало знает о нем молодое поколение. А ведь он был одним из основоположников очеркового жанра, достигшего впоследствии такого значительного развития. Мне кажется, что и ранние книги Ставского, и его фронтовые записки достойны переиздания.

Это был человек исключительно даровитый, вышедший из трудовых масс. Мне пришлось наблюдать его рост, поистине богатырский. Он был воин-герой, боец по своей природе, человек темпераментный, вечно кипевший в своей борьбе с несправедливостью, в борьбе за счастье человечества. Может быть, потому он написал сравнительно мало, но что ж делать, так уж сложилась его героическая судьба.

ДРУЗЬЯ

Вся Москва знала Борю и Зяму. Москва писательская, ученая, артистическая.

Я познакомился с Борисом Лапиным еще в самом начале двадцатых годов. Он тогда считался поэтом. Но кто из молодых людей его возраста (а ему было лет восемнадцать) не писал стихов, не читал их на вечерах или в литературных кафе, не пытался их печатать?

Худенький, невысокий, сутулый, в очках, он был приветлив и очень серьезен. Ничего в нем не было от богемы. Он мог играть и кокетничать в стихах, но в жизни был очень выдержанным и строгим.

Ему удалось тогда выпустить две книжки стихов под маркой издательства «Московский Парнас». Никакого издательства по существу не было. Просто несколько поэтов печатали свои труды на собственные средства (обычно на занятые деньги). Одна из этих его книг гордо называлась «1922 книга» —только потому, что она вышла в свет в 1922 году.

Я знал тогда многих московских поэтов, и Боря среди них выделялся. Для него была характерна подлинная,

большая культура, разнообразные, порой неожиданные познания. Я удивлялся, откуда этот юноша, почти мальчик, знает так много, причем в самых различных областях. И особенно меня удивило, что Боря — еще до поездок — знал хорошо восточные языки — фарси и арабский. Мне и в голову не приходило, что эти языки можно изучить без помощи преподавателя. Я даже не очень верил Боре. Но он мне показал свои многочисленные исписанные восточной вязью тетради, словари и учебники. Впрочем, он владел не только этими языками. Он хорошо знал старофранцузский, читал Вийона в подлиннике, выступал с чтением старых французских стихов в Библиотеке иностранной литературы.

Была в ту пору в Москве профессиональная организация, которая носила несколько странное название — «Местком журналистов-одиночек». В нее входили журналисты, не состоявшие в штате редакций, а также корреспонденты периферийных газет. Местком этот хорошо работал, заботился о своих подопечных, всегда стремился помогать им. Как-то я застал председателя этого месткома и его секретаря очень озабоченными.

— Подумайте,— сказали они мне,— наш Боря (его здесь очень любили), такой хрупкий, слабенький, типичный городской житель, уехал, ни с кем не посоветовавшись, на далекий Памир разъездным корреспондентом. Да он туда не доедет, его привезут больным.

Но эти предсказания доброжелательных товарищей не подтвердились. Боря благополучно прожил на Памире около года, работал там кооператором, статистиком, археологом, и сравнительно скоро после его отъезда из Москвы в различных газетах стали появляться интересные очерки за подписью «Пограничник». Они рассказывали о своеобразной, тогда еще малоизвестной горной стране, где старое причудливо соединялось с ростками нового. Опытные журналисты там еще не бывали. И долго московские газетчики понять не могли, кто скрывается за этим псевдонимом.

Очерки Лапина очень хвалил студент старшего курса

Ленинградского института восточных языков Захар Хацревин, с которым я познакомился в Сочи. Кажется, я первый раскрыл ему псевдоним и рассказал о Борисе Лапине. Тогда ему и в голову не приходило, как будут связаны их судьбы.

В отличие от выдержанного и в то же время простого Бориса Лапина, его будущий соавтор любил казаться загадочным, таинственным. Я думал сначала, что это от молодости, но годы шли, Зяма кончил учебу, побывал в Тегеране, выпустил даже небольшую книгу рассказов, а таинственный тон его все же сохранился. Не напрасно его теперь называли «москвичом в гарольдовом плаще».

Он был красив своеобразной, слегка старомодной, романтизированной красотой. В Сочи дамы и девицы добивались знакомства с ним, но он держался отчужденно и обычно мистифицировал представительниц прекрасного пола. Его игра в тайну меня немного раздражала и удивляла, казалась мальчишеством. Мы с ним виделись одно время довольно часто, почти дружили... А тайна все же была, но я о ней не подозревал. Только после его смерти я узнал, что романтический красавец был болен одной из редких форм падучей. Люди моего возраста этой болезни не знали или, может быть, знали только по биографии Достоевского.

...Они подружились неожиданно, чуть ли не после первой встречи. И вскоре я заметил, что Боря под влиянием своего нового друга изменился и в жизни и в творчестве. В жизни он стал невольным участником многочисленных мистификаций. Так, часто в шумном обществе они переходили на фарси. Одна остроумная дама вспомнила рассказ Марка Твена, где два американца говорят на самом редком наречии индейского языка, чтобы их никто не понял.

А в творчестве... Несмотря на свою поэтическую натуру, Лапин в ранних очерках был в основном документален, точен. Писал о том, что видел, что сумел освоить, хорошо узнать. А очерки и книги, написанные вместе с Хацревиным, во многом условны, поэтичны.

Когда началось их совместное творчество, Лапин уже был признанным литератором, Хацревин — только начинающим. Но, видно, нужен был для Лапина этот его соавтор, нужен для обострения, для поэтического осмысления материала. И будущим исследователям их творчества (уже вышли две книги — одна в Москве, другая в Таджикистане) они оставили для разрешения очень трудный вопрос: где истина, где вымысел в их сочинениях?

В предисловии к ранней своей книге «Тихоокеанский дневник» Борис Лапин писал: «Эта книга задумана как серия очерков; однако в ходе работы мне пришлось вносить в развитие строя фактов долю необходимого вымысла согласно законам писательского мастерства...» «Доля вымысла» еще увеличилась, когда он стал писать в соавторстве с Хацревиным.

Произведения наших писателей выглядят очерками. Но это очерки своеобразные, они насыщены образностью, опоэтизированы. Часто здесь появляются стихи, иногда даже не совсем понятно, свои или чужие. Они теперь изданы отдельной книгой. Самый материал очерков был очень сложный. Речь шла в них о далеких, тогда еще не освоенных районах страны, таких, как Памир, Чукотка, отдаленные районы Сибири, Монголия, совсем недавно ставшая народной республикой. Здесь причудливо сочетались новое и старое, да и то, что происходило в действительности, могло иногда показаться придуманным, фантастическим.

Предшественником Б. Лапина по описанию Памира был С. Мстиславский, посетивший Памир до революции. Он был офицером-кавалеристом и поневоле пробирался на Памир верхом, иначе тогда было невозможно. Впоследствии он стал довольно видным советским прозаиком и драматургом. Мне пришлось с ним беседовать о его старой книге «На крыше мира». Создавалось впечатление: все, что в этой книге написано,— выдумка, сказка. Он уверял, что фантастики никакой нет, что все это было в действительности, только сама страна могла показаться фантастической.

А Лапин ездил на Памир, когда там мало что изменилось со времен литературных странствований Мстиславского. Не приходится особенно удивляться, что порой в повести о Памире истина бывает близка к вымыслу, а вымысел кажется действительностью, реальностью.

Даже в книге Лапина и Хацревина «Сталинабадский архив», книге документальной, и то материал очень пестрый: здесь и вводные новеллы, и стихи, и фольклор, вероятно, отчасти подлинный, частью стилизация.

Был как-то в московском Доме печати в середине двадцатых годов вечер переводов среднеазиатских поэтов. Тогда их еще знали очень мало. Выступал здесь и Захар Хацревин со своими переводами стихов таджикских и персидских поэтов. Неожиданно поднялся на эстраду человек в тюбетейке, он оказался одним из тех поэтов, произведения которого читались.

— Это не мои стихи,— сказал он.— Это гораздо лучше, чем я писал.

Хацревин был не на шутку смущен. Но таджикский поэт его благодарил. Благодарил искренне. По его словам, переводчик улучшил стихи, предложил их русскому читателю в более совершенном виде.

Когда вышла книга наших авторов «Новый Гафиз», я был удивлен. Ну кому у нас придет в голову назвать книгу «Новый Пушкин», «Новый Лермонтов»?

— На Востоке,— сказал мне Лапин,— совсем иное отношение к классике. Там принято писать в манере Гафиза, Саади, Рудаки. Устраиваются даже состязания поэтов, работающих в манере того или иного классического автора.

Мне пришлось видеть наших авторов в окружении таджикских и узбекских поэтов. Они считали Лапина и Хацревина не популяризаторами и не документалистами, а поэтами-творцами. Недаром Лапин мне рассказывал, что в одном таджикском кишлаке им предложили принять участие в состязании поэтов. И выступления эти прошли с успехом, хотя русский язык там мало кто знал...

Та жизнь далеких советских окраин, которую описыва-

ли мои друзья, давно ушла в прошлое. Но их произведения и сейчас имеют познавательное и историческое значение. Первыми из квалифицированных русских литераторов они побывали в отдаленных районах страны. Те гигантские изменения, которые внесла Советская власть, они изобразили как подлинные художники, подлинные поэты. Оттого их очерки вошли в золотой фонд советской литературы и все больше и больше привлекают внимание исследователей, а при переизданиях и новых читателей.

На Памире, на Чукотке, в Монголии и в других малоосвоенных тогда местах они прошли много километров в условиях очень тяжелых, то верхом, то пешком, близко познакомились с населением, работая то статистиками, то кооператорами, то культработниками в музеях и библиотеках. Работа и дружба с населением позволила им описать и сделать доступной широкому читателю жизнь советских окраин того времени. Это были первые советские писатели-путешественники, они стали зачинателями жанра и в какой-то мере открывателями новых путей.

Конечно, по сравнению с путешествиями писателей и журналистов наших дней маршруты их поездок могут показаться скромными. За рубежом нашей страны они побывали только в Народной Монголии и затем незадолго до войны плавали в качестве матросов до Александрии (эта поездка почти не отразилась в их творчестве). Лапин несколько дней был в Японии на острове Хакодате, Хацревин — недолго в Тегеране. Вот и все... Но они хорошо понимали опасность империализма, угрозу будущей войны и фашизма. Умели об этом сказать в полную силу. Они видели врагов нашей страны. И обо всем этом говорилось в их произведениях ярко, образно и занимательно.

Автор этих строк, хорошо знавший обоих писателей, склонен был порой удивляться. Неужели это пишут мои приятели, хилый на вид Боря, такой домашний, московский молодой человек, и инфернальный красавец Зяма? Я даже шутя у Зямы спрашивал:

— Неужели вы все это пишете?

А он отвечал в своем стиле:

— Нет, это не мы пишем, пишет советский джинн, а мы его только держим в нашей бутылке.

Этот «советский джинн» хоть и писал порой по-разному, но все глубже и глубже проникал в жизнь, показывал людей различных, и друзей и врагов. Если в ранних их очерках были некоторые элементы объективизма, может быть, даже эстетства, то теперь уже все ясней чувствовались те огромные перемены в жизни далеких окраин, которые принесла Советская власть. И эти очерки все сильнее проникались коммунистической идеологией, и все ярче звучала в них патриотическая тема.

Такие произведения Лапина, как «1869 год» и особенно «Подвиг», имели определенную антифашистскую направленность. Приходилось ему встречаться в своих поездках с врагами Советской власти, с теми, кто тогда проникал к нам из-за рубежа. Он умел их разоблачить, дать им характеристику точную, резкую. Если бы не ранняя гибель, оба автора сумели бы сказать много своего, интересного и значительного.

«Золотые мальчики» (так стали называть их ленинградские приятели после успеха одной американской пьесы, хотя никакого отношения к этой пьесе они не имели) как-то мало менялись — оставались такими же приятными в обращении, дружески настроенными, очень интересно рассказывали о своих поездках, читали стихи.

Часто они появлялись и в Ленинграде, куда я переехал в 1933 году. Обычно раздавался телефонный звонок, я направлялся в «Асторию», где меня встречали такой приветливый Боря и всегда улыбающийся Зяма. Здесь я увидел их после Халхин-Гола. Меня удивил героизм этих внешне таких не героичных людей. Я узнал о нем из рассказов Владимира Ставского, бывалого воина, который немного посмеивался над ними, над их неприспособленностью, но высоко оценивал их мужество.

Я услышал их рассказ о бомбежках в Халхин-Голе. Мы гуляли тогда по Исаакиевской площади, и мне в голову не

приходило, что через какие-нибудь три года такой же бомбежке будут подвергнуты мирные кварталы и великие художественные ценности города Ленина.

Лапин рассказал, что во время бомбежки красноармейцы пригласили их переночевать в бронепоезде. Ночь прошла очень бурно, а проснувшись, Зяма сказал тоном очень светским: «Я, кажется, сегодня плохо спал». Ну совсем так он это сказал, как сегодня в «Астории».

Началась большая война. Друзья остались верны себе. Оба они скрыли свои болезни и добились отправки на фронт. Здесь они работали как корреспонденты «Красной звезды».

Их трагическая гибель была последней точкой этой замечательной дружбы.

Когда в окрестностях Киева Хацревин истекал кровью, Лапин не пожелал его покинуть, хотя его друг просил об этом и была еще возможность уйти.

Я проезжал через Москву примерно через месяц после окончания войны. Распространился слух, что Лапин и Хацревин живы. Их видели где-то, кажется в плену. Слух этот не подтвердился, но в него верили довольно долго, верили, я думаю, потому, что хотели верить. Такие уж это были неповторимые, талантливые люди, и погибли они так рано, не успев сказать всего, что могли...

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Его хорошо помнят писатели и деятели искусств старшего поколения. Он сохранился в их памяти как человек замечательный, почти фантастический. Пожалуй, он несколько напоминал фольклорных персонажей, прославленных своей мудростью. Не случайно о Юрии Карловиче Олеше вспоминают много и часто, устно и письменно. И получается так, что даже когда пишут о нем люди неопытные и не очень талантливые, все же их интересно читать, потому что так оригинален, самобытен сам герой их

повествования. Он был художником с головы до пят. Причем художником исключительно взыскательным. Он творил всегда и как бы озарял своим творчеством окружающих.

Я так жалел, что не владею стенографией и не могу записать каждую его беседу. Как выяснилось, не я один об этом жалел. Но скоро я понял, что, будь я даже мастером стенографии, эти беседы не так легко было бы записать, слишком они искрометны, неожиданны, непосредственны и в то же время глубоко лиричны. Одним словом, их трудно передать чужим пером.

Иногда казалось, что он обладает способностью проникнуть в сущность вещей, что обыкновенным людям никак не дано.

Он мог остановиться у маленького беленького цветка и так интересно описать его жизнь, захватывающе интересно! Или рассказать сказку о синем камушке, который только что выкатился у него из-под ног. Наверное, если бы он родился в средние века, его бы считали волшебником.

Я познакомился с ним в редакции «Гудка». Он был уже знаменит. Все железнодорожники знали фельетониста Зубилу. Его строки можно было встретить в железнодорожных стенных газетах, его фельетоны исполнялись в рабочей самодеятельности на транспорте. По коридорам редакции ходили железнодорожники из самых глухих мест, как тогда говорили, «с линии». Они мечтали познакомиться с прославленным фельетонистом, рассказать ему о своих нуждах, поблагодарить его. А он гордился этой своей известностью, сравнивал ее с популярностью Демьяна Бедного.

Скоро пришла иная популярность. Вышел роман Олеши «Зависть». Сейчас даже трудно представить, как широко были известны герои романа в тогдашней Москве. Имена Бабичева, Кавалерова были у всех на устах. Московские молодые люди объяснялись в любви словами знаменитого романа: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

Строки романа входили в обиход, становились поговорками, и казалось, что имена героев романа станут нарицательными, как имена Хлестакова и Тартарена.

Сам автор романа не возгордился. «Популярность моя как Зубилы мне во сто раз дороже, чем нынешняя известность Олеши. То настоящая слава в народе, а это — интеллигентская мода»,— говорил он.

Когда он услышал от меня, что в одном литературном доме жалеют бедного талантливого писателя, который принужден был писать газетные фельетоны, чтобы существовать, он рассердился не на шутку.

— Скажите им, что они дураки! — сказал он мне.

— Неудобно как-то, Юрий Карлович. Я их мало знаю, и они большие поклонники вашего таланта.

— Тем более скажите. Я вам это разрешаю передать от моего имени.

Он одарял людей глубиной мысли, блеском остроумия. Бытовые мелочи становились у него предметом искусства. Он мастерски владел искусством слова, искусством беседы, искусством обогащения человеческой мысли и чувства. Без этих бесед он существовать не мог. Он был художник-сказитель, очень взыскательный и тонкий. Мне иногда казалось, что в жизни он даже талантливее, чем в литературе. Впрочем, я скоро понял, что это, по-видимому, разные грани одного и того же таланта.

Много было у него друзей, все больше из мира литературы и искусства, и для каждого из них была плодотворной эта дружба. Он был своеобразным донором, обогащающим людей своими беседами, под его обаянием происходил их творческий рост. Он вдохновлял людей. Это его творческое влияние бесспорно, хотя, конечно, трудно точно определить, в чем оно выражается. Немало сделано у нас для изучения процесса творчества, и все же остались в искусстве тайны, до сих пор не разрешенные, до конца не разгаданные.

Он был и внешне прекрасен. Как будто бы непропорционально сложенный, с большой головой, нескладный, он

был прекрасен какой-то внутренней силой, силой творчества, пленителен как человек и художник.

Замечательно выступал он на суде. Нет, не пугайтесь — под судом и следствием он никогда не был. А это был особый суд, суд над драматургами, не пишущими женских ролей, в Центральном доме работников искусств. На этом оригинальном суде он выступал как подсудимый.

Олеша здесь выступил с парадоксальной речью.

Революция, сказал он, дело мужское. Оттого революционный драматург изображает в первую очередь героев мужчин. Но в утешение актрисам он предлагал им научиться играть мужские роли. Речь эта была принята восторженно, но советам писателя как будто не последовали.

Театральная общественность многого ждала от Олеши. Режиссер Н. Горчаков рассказал мне, что, когда он спросил у Станиславского, кто из молодых авторов МХАТа по его мнению наиболее талантлив (тогда в МХАТе шла пьеса «Три толстяка»), Константин Сергеевич сказал: «Конечно, Олеша!»

Мейерхольд называл гениальной пьесу «Список благодеяний». А замечательный артист Щукин считал, что не будь Олеша писателем, он мог бы стать оригинальным и исключительно талантливым актером.

Я оценил эту характеристику Щукина после одного из визитов к Олеше. Дело было в «Европейской» гостинице в Ленинграде. Он жил в этой гостинице незадолго до войны. Я тогда работал в Ленинградском управлении искусств. Там предполагалось заключить договоры с рядом драматургов, и я с большим трудом добился включения Олеши в этот список. Приехал к нему с радостной вестью, но Олеша не все в моем сообщении понял и разобиделся. Я очень расстроился, заявил ему, что во всяком случае стремился помочь ему, сделать его произведения более популярными. И тут Олеша обнял меня, разыграл замечательную интермедию. Сейчас мне трудно описать эту удивительную сцену, эту интереснейшую пантомиму. Я был

поражен и почувствовал замечательный драматический талант Олеши.

После войны я встречал его в Переделкине, и опять прогулки с ним доставляли мне необыкновенное эстетическое наслаждение. Каждое его слово можно было ценить на вес золота. Только теперь у него была новая тема бесед, для него очень важная,— старость.

— Я старик и должен держать себя как старик. Самое отвратительное, когда старик притворяется молодым!

Я ждал, что эта тема как-то отразится в его творчестве.

Не берусь решить,— вопрос, по-видимому, очень сложный,— почему после большого успеха двух романов и трех пьес писатель надолго замолчал. Конечно, он был художником исключительно взыскательным, очень строго относился к себе и своему творчеству. Но и внимание к нему было недостаточным. Ведь после войны он долго не имел своего пристанища, скитался по домам творчества.

И в конце его жизни, и после его смерти не раз издавались его произведения. Но почему-то все «Избранное» да «Избранное». Значит, есть из чего «избирать». Помню, еще давно, в «гудковский» период, я слышал отрывки из романа Олеши «Нищий» (об этом его произведении писали тогда в прессе, о нем упоминал Маяковский).

Не знаю, кто из слушавших тогда Олешу жив, кто помнит это чтение, но на меня оно произвело большое впечатление. Особенно беседа профессионального нищего с молодым интеллигентом, нищим духом, немного напоминавшим Кавалерова. Сохранились ли эти отрывки?

А много позже, через десятки лет, я слушал в квартире Леонида Гроссмана пьесу Олеши по роману Достоевского «Идиот». Хозяин квартиры, выдающийся знаток Достоевского, считал ее лучшим драматическим произведением на тему Достоевского, и не инсценировкой, а самостоятельным художественным произведением.

Спектакль театра Вахтангова по этой пьесе оказался не очень удачным. А затем пьеса издана не была и затеря-

лась среди многочисленных ремесленных переделок произведений великого писателя.

Известны и другие инсценировки, над которыми работал Олеша: чеховские «Цветы запоздалые», «Гранатовый браслет» по Куприну.

Его сравнительно поздние пьесы — «Смерть Занда» и «Бильбао» — кажется, были закончены. Но ведь талантливое произведение большого писателя порой и незаконченное ценно для развития литературы. Одним словом, советский читатель вправе познакомиться не только с избранным, но и со всем литературным наследием Олеши.

«Ничего не должно пропадать из написанного» — так писал Олеша в своей книге «Ни дня без строчки». Все литературное наследие этого замечательного писателя и человека должно быть известно советскому читателю, который так любит его творчество. Мне кажется это бесспорным...

ПУТЬ ДРАМАТУРГА

Не очень высоко оценил я обе эти пьесы. Признавая талант автора, его умение строить действие, все же сказал, что он находится во власти схем, что в развитии сюжета есть элементы искусственности, что персонажи показаны поверхностно, неглубоко. Так я (может, слишком безапелляционно) оценивал на страницах журнала «Новый зритель» две пьесы молодого драматурга Афиногенова «Волчья тропа» и «Малиновое варенье».

И я был, конечно, очень удивлен, когда в фойе Малого театра ко мне подошел молодой человек, очень приятный на вид, с очаровательной улыбкой и только, как мне показалось, с какой-то слишком длинной шеей.

— Разрешите представиться! — сказал он.— Я Афиногенов, автор тех пьес, о которых вы недавно писали.

Не знаю, как другие критики, а я всегда чувствовал себя немного неловко, встречаясь с писателем или актером, работу которого оценивал не слишком лестно. Мне

казалось, что, может, я напрасно обидел человека. Так было и на этот раз.

— Я проанализировал свои пьесы как умел,— сказал он.— И увидел, что вы в основном правы (ух, гора свалилась с плеч!). В них действительно немало наивного и примитивного. А вот теперь я кончаю работать над новой пьесой, все для меня в ней необычно — и персонажи, и характеры, и ситуации. Это будет моя первая серьезная пьеса, а старые пьесы — только ученические опыты. Через несколько месяцев пьеса будет закончена. Прошу тогда вашего внимания.

Меня поразила его скромность, пожалуй, не свойственная молодым драматургам.

Новой пьесой был «Чудак». Как известно, пьеса заняла почетное место в истории развития советской драматургии. Автор ее не только описывал жизненные явления, но указывал пути будущего их развития. В те годы, когда вышла пьеса, еще неизвестно было стахановское движение, автор как бы предугадал его, почувствовал неизбежность нового, творческого отношения к труду в новых социальных условиях. В пьесе яркие характеры, крепкий язык. Это была несомненная удача молодого автора.

Года через полтора или два я сравнительно недолго работал в МХАТе Втором. В этом театре впервые увидела свет рампы пьеса «Чудак». Там очень любили и уважали «нашего Сашу» (так его все называли, у него тогда был совсем еще юношеский облик). Поражались его скромности и принципиальности. Он очень прислушивался к чужим мнениям, к советам участников спектакля, даже второстепенных.

Иногда по их указаниям он вносил поправки, но, конечно, делал это не всегда. У него было и свое мнение и свои принципы.

Смеясь, рассказывали, что его полюбил весь театр, но особенно эмоционально выражал эту любовь сеттер Озон, один из ответственнейших участников спектакля. Когда приходил драматург, он бросался к нему, радостно лаял

и лизал руки. Острили, что Озон наглядно выражал общие чувства всего коллектива.

Мне не пришлось печатно высказываться о «Чудаке». Когда я встретил автора пьесы после премьеры, он потребовал подробного отчета о моих впечатлениях. Я стал хвалить пьесу. Он перебил меня:

— Скажите о недостатках, автору это более интересно. Комплиментов я уже наслышался достаточно.

— Ну вот,— сказал я,— исключительный успех, а автор просит меня влить ложку дегтя в бочку меда.

— Один мед может быть слишком сладким, приторным. А я люблю критику нелицемерную, у нас ее не так уж много. . .

Потом последовал успех его пьесы «Страх» во МХАТе. Когда-то Дорошевич острил, что драматург, пьеса которого ставится в Художественном театре, чувствует себя взятым живым на небо. Я привел эти слова Афиногенову.

— Хорошо сказано,— заметил он,— но я знаю, что до неба мне очень далеко. Я, правда, Александр Николаевич, но пока только Афиногенов, не Островский.

В постановке «Страха» во МХАТе и в Ленинградской Государственной драме два замечательных актера, Леонидов и Певцов, создали тогда совершенно различные образы профессора Бородина. То были не только разные актерские индивидуальности, разные приемы игры, но и различное толкование образа.

Леонидов изображал крупнейшего ученого, человека с мировым именем. Певцов играл более скромного ученого, талантливого профессора, типичного деятеля советской науки.

Отсюда не только различные типы и образы, менялось все содержание пьесы.

Я спросил у Афиногенова, чью творческую работу он считает более соответствующей его замыслу.

— Не знаю,— сказал он.— Оба меня потрясли, каждый по-своему. Когда я смотрел, то забывал, что это моя пьеса, что это люди, созданные моей фантазией, мои слова.

Каждый из них имел право на свое толкование. Это право большого художника, творца. Может быть, у нас, драматургов, есть свое счастье и свое преимущество перед другими писателями. Наши образы, наши замыслы воплощаются другими творцами на сцене. Кажется, такое вторичное творчество неизвестно другим писателям. А кто лучше — судить не берусь. И тот, и другой меня убедили. Сколько известно разнородных толкований хотя бы «Гамлета». Какое более правильное — кто определит? По-моему, когда сценический образ захватывает, потрясает, убеждает зрителя, он правилен, даже если его создатель думал иначе. Актер имеет законное право развивать и дополнять то, что было создано драматургом.

Кажется, при следующей встрече он мне сказал, что сценические успехи его не так уж и радуют. Ему все кажется, что это заслуга прославленных театров, а не драматурга. Он только в этом деле принимает участие. Вообще, знаменитому драматургу Афиногенову нужно еще многому и многому учиться, тайн мастерства он далеко еще не постиг.

Может быть, невольно он несколько преуменьшал влияние и значение своих пьес. В дни премьеры «Страха» я работал в Московском радиоуправлении. Это была не только первая постановка МХАТа, но и вообще первый театральный спектакль, целиком переданный по радио. Некоторые работники радио даже думали, что будет скучно. Но скучно не было. Об этом свидетельствовали тысячи полученных писем. Наряду с благодарностями за эстетическое наслаждение, в них говорилось, что такие передачи способствуют перестройке мировоззрения слушателей. Особенно интересны были в этом смысле многочисленные письма научных работников.

Руководители РАППа считали, раз пьеса молодого драматурга ставится во МХАТе, значит, он все знает, умеет, постиг всякую мудрость и может учить других. Афиногенов мне говорил, что его хотели назначить руководителем

Драматической студии, создаваемой РАППом, и он еле отбоярился. Скоро, впрочем, он стал редактором газеты «Советское искусство».

Странный это был редактор, совсем не похожий на других. Со всеми сотрудниками он серьезно советовался и даже боялся править их материалы.

— Я же драматург, не теоретик, не профессиональный редактор,— говорил он.— Да и что поправлять — вдруг выйдет еще хуже.

Был тогда популярный лозунг, о котором не грех вспомнить и теперь: «У опытного литератора материал должен идти либо в набор, либо в корзину». И Афиногенов-редактор придерживался этого лозунга. Материал шел в основном в набор, и газета заметно улучшилась.

Я очень удивился, когда он предложил мне написать исследование о производственной пьесе (я писал о некоторых таких пьесах). Оказывается, он уже с кем-то сговорился об исследованиях по деревенской теме в драматургии и на тему об интеллигенции.

— Вы вот,— сказал я ему тогда,— говорите о схематизме, а такое искусственное разделение пьес невольно приведет к схематизму.

Он замолчал и, кажется, согласился. Теоретиком он оказался не очень удачным. Изданная им тогда книга «Творческий метод театра» никаких америк не открывала. Он был назначен основным докладчиком на театральном совещании РАППа. Тезисы этого доклада были им разработаны совместно с Авербахом и Киршоном.

— Эти товарищи,— говорил Афиногенов,— начинили меня рапповской премудростью.

Сам Афиногенов теоретически не считал себя достаточно подкованным. Позже он мне признавался, что невольно оказался во власти рапповских схем.

Он серьезно боялся своего доклада. Предполагалось участие знаменитых оппонентов — Немировича-Данченко, Мейерхольда, Таирова.

— Сделают они котлету из бедного Саши,— поделом ему, пусть не пишет скороспелых и непереваренных сочинений,— острил он над самим собой.

Внешне доклад, впрочем, прошел благополучно. Немирович-Данченко не выступал и ограничился посылкой дружеского письма. Таиров и другие оппоненты отнеслись к докладчику с большим уважением, и только Мейерхольд несколько поиздевался над ним, избрав, впрочем, для этого неожиданную форму. Он читал отрывки нового, только что вышедшего руководства для краснодеревщиков, составленного, видимо, человеком напыщенным и не очень умным. Чем-то оно, действительно, напоминало теоретические рассуждения рапповцев.

— Вот и котлета! — сказал мне потом Афиногенов.

По-видимому, после ликвидации РАППа оставались у него еще следы старых рапповских установок, они отразились в неудачных его пьесах «Портрет» и «Ложь».

После переезда в Ленинград я работал завлитом небольшого Ленинградского театра транспорта. Там готовился «Портрет». В это время Афиногенов приехал в Ленинград и трижды присутствовал на репетициях театра. Но выступал он неуверенно, не очень убежденно, и актеры, так ждавшие встречи с популярным драматургом, были огорчены. Я думаю, он понимал недостатки пьесы и уже разочаровался в ней.

«Портрет» был посвящен теме, которая тогда являлась модной,— теме перековки уголовных преступников.

Помню беседу с ним в гостинице «Астория» в его номере. Он мне сообщил, что над этой темой начал работать Погодин. Речь шла о знаменитых в будущем «Аристократах».

— Погодину это удастся,— говорил Афиногенов,— это в его стиле, в его возможностях. Думаю, что будет интересно и весело. А у меня не получилось, это не моя тема, я понял это слишком поздно. Только не говорите об этом вашим актерам до премьеры.

Увы, премьера так и не состоялась.

Он умел и любил радоваться чужим успехам. Чувствовалось, что при этом он был искренен, что его действительно волновали вопросы искусства, а не мелкое самолюбие.

Я присутствовал в Москве по его приглашению на премьере спектакля «Далекое». Это был новый взлет его творчества, одна из первых советских пьес философского плана. Игра всего вахтанговского коллектива, и особенно гениального советского актера Щукина, помогла создать спектакль большой художественной и идейной глубины.

Его радовало, что советское драматическое искусство подымается на высшую ступень.

— Мы можем теперь говорить о больших чувствах, о любви и добре, даже о теме смерти без всякой скидки,— говорил он.

Тогда же я познакомился и с пьесой «Машенька», вернее, с ее первоначальным прозаическим эскизом. Он несколько отличался от окончательного варианта пьесы.

До сих пор Афиногенова считают драматургом камерного плана, автором преимущественно психологических пьес. Мне кажется, это неверно. Он упорно искал и написал двадцать шесть пьес, многие из которых до сих пор не поставлены. Было у него немало пьес героических, таких, как «Москва — Кремль», где он пытался впервые вывести на сцену Ленина, как «Салют, Испания», где отразились испанские события. Его пьеса «Накануне» посвящена войне, в ней чувствовалась уверенность в будущей победе.

Он погиб еще совсем молодым от одной из первых бомб в родной Москве, где его так любили, любила театральная публика, любили актеры и писатели. Это был человек исключительно яркого, искрометного дарования, один из талантливейших драматургов советского поколения довоенного периода.

ЕГО СЧИТАЛИ ОЧЕНЬ СТРОГИМ...

Каюсь. Я его немного боялся. И не я один. Все люди неорганизованные, немного беспутные... А среди творческих работников таких можно найти сколько угодно.

Он не стеснялся делать замечания людям солидным и почтенным, если считал, что их поведение не соответствует достоинству советского человека. «Советским хорошим тоном на двух ногах» назвал его какой-то остроумец.

Я познакомился с Борисом Лавреневым в середине тридцатых годов и был, честно говоря, несколько разочарован. Я очень любил его ранние романтические рассказы, а автор их показался мне уж слишком серьезным, даже несколько скучноватым. Только потом я понял, что эта серьезность во многом напускная, искусственная.

Очень скоро после этого знакомства я встретился с ним в Летнем саду. Был пригожий день ранней осени, весело падали желтые листья. Борис Андреевич был очень откровенен со мной, тогда еще мало знакомым ему молодым человеком. Может быть, он нуждался в собеседнике, в человеке, которому он мог бы высказать свои мысли.

— Тяжела наша писательская должность. И происходит это потому, что советский народ нам слишком доверяет. Вот, например, ученые имеют право на эксперимент, а следовательно, отдельные ошибки не ставятся им в вину. Мы же этого права не имеем. Писатель издавна считается у нас учителем жизни. А учитель не должен ошибаться...

Борис Лавренев. Был некогда такой поэт среди северянинского окружения, так называемых эгофутуристов. Может быть, однофамилец? Нет, он самый. Борис Андреевич этого не скрывал, но и вспоминать не любил. «Гимназические забавы,— так характеризовал он это свое литературное прошлое.— С тех пор пролилось так много не только воды, но и крови».

Лавренев был офицером в царском флоте, потом красным командиром. Может, именно поэтому сохранились у него какие-то командирские черты.

Когда Борис Андреевич после демобилизации приехал в Ленинград, он не стал возобновлять свои литературные знакомства. Послал по почте несколько рассказов в «Звезду», тогда только начинавший выходить журнал. Их напечатали с удовольствием, и с каждой новой публикацией вырастала его популярность, достигшая апогея к десятилетию Советской власти, когда вышла в свет пьеса «Разлом», скоро ставшая советской драматической классикой.

Это двойное начало литературной деятельности имело большое значение для Лавренева. Старую богему он знал очень хорошо, и не по рассказам или литературным источникам, а по личному опыту. Вместе с тем он высоко ставил работу советского писателя, общее дело всей советской литературы. Отсюда некоторая суровость и строгость в его поступках. И не странно ли, порой ему подчинялись почти беспрекословно. Очень считались с его мнением. Так бывало даже на отдыхе в Коктебеле. Там до войны был особый писательский Дом отдыха (потом Дом творчества). Мнение Лавренева было здесь решающим. Он накладывал особые наказания, которые назывались почему-то «епитимьями». Конечно, все здесь было по-своему комедийно обыграно, но вместе с тем эти наказания, обычно придуманные Лавреневым, как бы выражали нравственный суд всех отдыхающих. Разнообразны были эти наказания.

Помню, как довольно известная балерина должна была пройти пешком в Старый Крым. Дорога туда очень красивая, но все же двенадцать километров пройти не так уж легко. В чем она провинилась, точно не помню.

Жил тогда в Коктебеле молодой чувашский поэт, не слишком правильно говоривший по-русски. Кто-то из отдыхающих пародировал его речь. Насмешника ждало тяжелое наказание. Лавренев учил чувашского поэта играть в теннис, а провинившийся должен был подбирать и приносить мячи. И так в течение нескольких дней.

Не всегда я видел Бориса Андреевича суровым и строгим. Он становился порой гораздо более мягким, особенно под влиянием музыки. Раз я от него услышал: «Музыка

раскрывает лучшие человеческие чувства. Я это знаю по собственному опыту».

Особенно любил он Моцарта, некоторые произведения Скрябина и своеобразное искусство гитариста-виртуоза Сорокина, когда-то пленявшее Александра Блока.

Мы встречались тогда в кругу музыкантов, и от них я знал, что Лавренев задумал новую повесть, главным героем которой будет музыкант и будет показан целый коллектив музыкальных деятелей. По-видимому, это относилось к одному из неосуществленных замыслов.

Мне пришлось слышать Лавренева и как замечательного рассказчика-импровизатора. Выступать с эстрады он не любил. Напечатанных вещей почти не читал. Но в то же время при соответствующем настроении он импровизировал почти вдохновенно. Эти его устные рассказы в большинстве своем не напечатаны.

Все творчество Бориса Андреевича связано с современностью. Между тем он хорошо знал русскую историю, и его исторические импровизационные рассказы тоже бывали порой очень увлекательными.

Дело происходило до войны в славном старинном русском городе Новгороде. Там тогда, по-моему, особенно чувствовалось обаяние старины. То и дело за новыми домами выглядывали старые церкви и часовни.

Потом мне пришлось видеть старинный город совсем разрушенным в первые послевоенные годы. Исторические памятники со временем были мастерски реставрированы. Но увы, при самой умелой реставрации подлинная поэзия старины не всегда сохраняется.

В этом довоенном Новгороде я часто встречал Бориса Андреевича. Мы с ним не раз гуляли по новгородским улицам, и Господин Великий Новгород как бы оживал в его рассказах. Он знал старые нравы и обычаи во всех их деталях, хорошо знал новгородское искусство. Создавалось ощущение, будто мы с ним входили в жилища новгородских купцов и новгородских простолюдинов, знакомились с их жизнью, с их своеобразным бытом. Особенно

интересно передавал он сцены, связанные с новгородским демократизмом. В его рассказах как бы оживало новгородское вече, схватки и потасовки на новгородских мостах, своеобразная новгородская церковная жизнь. Здесь церкви были почти цеховыми учреждениями, в церковных подвалах обычно хранились товары, меха, кожи, текстильные изделия.

— Вы, видно, жили в древнем Новгороде? — спросил я его как-то.

— Может быть, и жил,— подтвердил он.

Он выступал на заседании Новгородского совета (тогда город входил в Ленинградскую область), где шла речь о будущем города, в частности будущем новгородской промышленности, тогда не очень значительной. Слова писателя Лавренева удивили слушателей, показались им почти фантастическими. Он говорил о том, что в прошлом великий город, носитель своеобразных старорусских демократических традиций, может и должен стать мировым туристическим центром.

Это был 1935 год. Иностранных туристов в нашей стране тогда еще не было, да и вообще туризм не был популярен.

Прошли годы, и предсказание писателя сбылось.

Через много лет я вспоминал об этой речи писателя, когда видел в Новгороде многочисленных туристов из разных стран, разговаривающих на самых различных языках, европейских и восточных. Интересно отметить, что они интересовались не только прошлым города, его великим искусством, но и новгородскими демократическими традициями, о которых когда-то говорил Б. Лавренев. В старых газетных комплектах я искал эту его интересную речь, но, увы, найти не сумел.

Борис Андреевич много говорил о неизбежности будущей большой войны, он считал, что мы к ней должны серьезно готовиться. Он организовал военное обучение ленинградских писателей, понимая, что большая война придет, по-видимому, скоро, настаивал на подготовке и бдитель-

ности в этой области. Его бесконечные напоминания о будущей войне казались навязчивой идеей, а в действительности были проявлением его политической мудрости. Он лучше понимал подлинное развитие политических событий, чем многие окружающие его товарищи.

К сожалению, незадолго до войны он тяжело заболел. В военные годы я его не видел. Встретились мы с ним только в Ленинграде уже после окончания войны.

Его не радовали новые успехи его литературных произведений. За две его новые пьесы были присуждены Государственные премии. Когда я его поздравлял с первой из этих наград (пьеса «За тех, кто в море»), он сказал:

— Ну, поздравляйте. Кажется, так принято. А я знаю недостатки своих произведений и мог бы написать критическую статью о Борисе Лавреневе лучше всяких критиков и зоилов.

Он должен был переехать в Москву, где обещали создать ему идеальные условия и для работы, и для лечения. Мне казалось, что он в это не очень верил, переезжал както неохотно. В последний раз в Москве я видел его совсем больным, у него очень болели глаза, он плохо ориентировался в окружающем.

Он мне сказал тогда:

— Сколько было интересных замыслов, и как мало успел я выполнить. А больше не сумею. Так жалко, что эти замыслы нельзя кому-нибудь завещать.

Это был большой человек, человек очень сложный, многообразный.

Бывают люди, внешний облик которых недостаточно раскрывает их сущность. Его мнимая суровость была отражением суровых этических требований, которые он предъявлял и к себе, и к другим. Это не всегда понимали, и порой многие его поступки удивляли людей, казались им необычными, странными. А это было вызвано серьезным отношением к людям, вниманием к ним.

Таков был большой советский писатель Борис Андреевич Лавренев.

ХМУРЫЙ ЮМОРИСТ

Это была популярность особая, исключительная. Не только в литературных кругах, не только среди читающей публики, но и среди самых простых, далеких от искусства людей.

Помню, как в Москве девушка-домработница спрашивала: правда ли, что на Тверском бульваре (речь шла о Доме Герцена) собираются писатели и даже можно увидеть живых Зощенко и Пантелеймона Романова? Я потом сообразил, что это единственные писательские имена, которые она знала.

Да, многие мечтали увидеть «живого» Зощенко. Вот живописный Дом отдыха в горах восточного Крыма. Туда выехала группа ленинградских литераторов из Коктебеля, и уже на подступах к дому стояли отдыхающие с цветами. Ждали Зощенко. Другими писателями почему-то не интересовались.

Когда я познакомился с Михаилом Михайловичем, он мне показался немного утомленным своей славой. Внешне это был человек выдержанный, несколько суховатый и всегда будто бы чем-то чуть недовольный. Но при этом он был очень внимателен к людям, даже малознакомым и ничем не примечательным. Иногда он мне казался слишком старомодно вежливым. Он был очень тщательно одет, и создавалось впечатление, что он много внимания уделяет своему туалету.

Но в то же время в толпе он никак не выделялся. Бывает так: писатель или артист, может, этого и не хочет, а вот его сразу заметят. Тут этого не было. Его знала вся страна, а в лицо мало кто знал.

Я удивлялся. Человек немного мрачный, а всю страну веселит. Человек как будто бы внешне ничем не примечательный, а всей стране известен.

Однажды (я был тогда еще с ним мало знаком) встретил я его в вагоне трамвая. Сознаюсь, заданный мной вопрос был не очень умен... Я спросил:

— Неужели вы пользуетесь этим демократическим транспортом?

Он, казалось, был обижен и чуть смущен.

— Напрасно считают, что я богат,— сказал он,— машины у меня нет и не было. А вообще я люблю ходить, а не ездить. Хотите со мной как-нибудь погулять — позвоните.

Так началось наше более близкое знакомство. Я часто ему звонил, и он приглашал участвовать в своих прогулках. Гуляли мы не очень далеко, по Невскому, по соседним улицам, заходили в ближайшие пивные. Очень часто он заговаривал со случайными людьми. Конечно, они не знали, что это знаменитый писатель, охотно рассказывали всякие были и небылицы. Он умел так построить беседу, что собеседник был искренен и болтал очень охотно. По-видимому, эти беседы иногда являлись материалом для его будущих работ, но он ничего не записывал, все удерживал в памяти.

Он мне сказал однажды:

— У меня совсем нет писательской записной книжки, как у многих моих коллег... Должно пройти много времени, чтобы эти невинные беседы отшлифовались в моей памяти. Если это материал, то отдаленный, очень предварительный...

Его всегда интересовали уличные происшествия и скандалы. Он вмешивался, старался установить справедливость. Конечно, это было делом нелегким. Ведь каждый участник считал правым только себя и неправым других, будь то случайно попавшиеся ему люди или даже его друзья-приятели.

— Зачем вам это, Михаил Михайлович? — спрашивал я его. Но скоро понял, что эти уличные инциденты ему нужны. И разговоры с милиционерами тоже нужны.

Раз случилось так, что нас отвели в милицию, и один из милиционеров, оказывается, слышал выступление Зощенко (кстати сказать, выступал он довольно редко). Одним словом, его узнали, и что тут было! Выбежали ми-

лиционеры из всех комнат, даже вывели задержанных. А сам Михаил Михайлович постарался убраться поскорей, был раздосадован и смущен. Я осмелился тогда сделать ему что-то вроде замечания:

— Вот к чему приводит излишнее любопытство!

Он засмеялся:

— Почему вы думаете, что все это мне не нужно?

Значит, действительно было нужно. Творческий процесс по-разному проходит у различных писателей, разные художники по-разному собирают жизненный материал.

Во время этих уличных странствий мне казалось, что он очень любит человека рядового, простого, незаметного. Даже того, который ведет себя не совсем так, как полагается.

— Плохо еще живут люди,— говорил он,— оттого пьянствуют и буянят...

Во время наших бесед мы не раз касались творческих вопросов. И я понял, что знаменитый писатель не удовлетворен, не доволен ни своим творчеством, ни отношением к нему окружающих.

— Я не собираюсь,— сказал он мне,— войти в литературу развлекателем на манер Аверченко или, еще хуже, Лейкина. Это меня никак не прельщает. А сейчас получается так: «Ах, вот Зощенко»,— и все, по выражению гоголевского городничего, «скалят зубы и бьют в ладоши». А мне все это как-то неприятно.

К критике у него было двойственное отношение. Он понимал ее необходимость, но текущая критика его часто злила.

— И ругают, и хвалят, а понять как следует не могут!

Когда ему сказали, что один известный критик называет его «советским Гоголем», он испугался:

— Подумайте, ведь могут решить, что это я научил его такое говорить!

— Я хочу,— сказал мне Михаил Михайлович,— чтобы о старом Зощенко, о том, который писал рассказы о чуда-

ках, знали бы только литературные коллекционеры, а широкая публика читала бы нового.

Увы, трудно ему было на этих новых путях.

— Да, приходится признаться, что я свыкся со своими героями и со своей манерой письма. Они мне надоели, но новое найти нелегко.

Вышла «Возвращенная молодость», потом «Голубая книга». Он огорчался.

— Пишут совсем не то, что надо писать, неизвестно о чем спорят...

Однако чувствовалось, что сам он не очень доволен своими последними произведениями. Новую манеру письма он пока не нашел, хотя искал упорно и настойчиво.

Иногда Михаил Михайлович жаловался на недостатки своего образования:

— Слишком оно было каким-то внешним, формальным. Учился я много, но бестолково, и сейчас порой чувствую, что мне много еще нужно узнать.

Однажды я ему рассказал, что в университете увлекался философией, и он меня попросил:

— Вы бы могли мне помочь. Пишу философскую повесть, не знаю, что получится. Составьте список литературы, которую я должен прочесть.

Правда, больше этого вопроса мы не касались. Что это была за философская повесть? Не знаю. Вряд ли «Перед восходом солнца». Мне Михаил Михайлович говорил, что героем его будущей повести должен быть профессиональный философ, преподаватель высшего учебного заведения. Как будто бы среди его героев таких нет.

Хочется сказать несколько слов о его человеческих чертах. Был он добрым, отзывчивым. Резко реагировал на всякую непорядочность, всегда старался помогать людям, страдания их и беды принимал близко к сердцу. Часто хлопотал за молодых писателей, немало читал их произведений, оказывал им творческую помощь, добивался напечатания их произведений. Часто предлагал деньги взаймы, даже не будучи уверен, что они будут отданы. Деньги у

него не держались. Цены им он не знал и очень бестолково их тратил. Вообще в практической жизни он оставался неприспособленным. Казался обычно он несколько хмурым, чуть строгим. По-видимому, это было свойство его характера. Он не очень близко сходился с людьми, и они не всегда его понимали.

На первый взгляд его творчество кажется таким простым, всем и всегда доступным. На самом деле это не так. Его сравнительно поздние вещи знали мало и понимали не всегда. Знали да и любили, главным образом, его ранние, популярные рассказы. Самого автора это теперь явно не устраивало.

Я как-то сказал, указывая на маленькую собачонку: «Собака системы пудель».

Зощенко почти рассердился.

— Почему-то,— сказал он,— все убеждены, что писатель должен любить каждую свою строчку. А я часто стыжусь того, что когда-то написал.

Однажды речь зашла о будущей войне, и он сказал:

— Я слишком уважаю человечество, чтобы бояться будущей войны.

Во время войны я его не видел. Встретил только после возвращения в Ленинград. Зощенко похудел, выглядел нездоровым. Теперь он увлекался драматургией. Две его, по-моему не очень удачные, комедии шли тогда на сцене. Меня он считал специалистом в этой области и задавал вопросы, которые мне казались странными и удивительными:

— Сколько действующих лиц должно быть в комедии? Сколько женских и мужских персонажей? А сколько актов, по-вашему, лучше: три или четыре?

— Я удивляюсь, Михаил Михайлович. Вы же не спросите, сколько действующих лиц должно быть в рассказе, сколько листов в повести.

— Тут другое дело, тут совсем другое дело. В драматургии есть свои законы, они установлены от века, с ними необходимо считаться. Нельзя писать как захочется. Эти

твердые правила меня и прельщают. Но оттого так трудно и так ответственно овладеть этим жанром. Я заметил, что режиссеры, когда в их руки попадает новая пьеса, прежде всего смотрят — сколько действующих лиц, сколько актов, когда меняется место действия. Это не случайно. Вы сумеете это объяснить?

Я пытался объяснить, но говорил вещи достаточно трафаретные — что, мол, и в драматическом жанре возможны разные приемы, разное количество актов и действующих лиц. Он меня перебил довольно резко:

— Я это знаю сам!

Вообще я его теперь не узнавал. Он стал взвинченным, нервным, иногда резко говорил с людьми. Когда на заседании секции прозы критиковали его последние вещи, он возражал сердито и казался очень обиженным. Стояла весна 1946 года...

Я встретил его в Москве в декабре 1950 года. Я был вызван тогда к Фадееву, оказалось, что вызван к нему и Зощенко.

Я встретил его в гостинице, когда он только что приехал. Он очень испугался, когда узнал, что я живу в общем номере. Я уверил его, что ему дадут отдельный, что я сам отказался от такой чести. Казалось, теперь он избегал и боялся людей.

Фадеев отнесся к нему внимательно, был заинтересован его судьбой. В моем присутствии Александр Александрович убеждал по телефону товарищей (я постеснялся спросить, с кем он говорил) обязательно печатать Зощенко.

— Это наш партийный долг,— говорил он.— Мы должны сделать так, чтобы Зощенко остался в литературе.

В Ленинграде затем я долго не видел Михаила Михайловича, потом случайно встретил его в Сестрорецке, где он в то время жил и зимой и летом (семья его оставалась в Ленинграде). Я навестил его. Жил он в небольшой комнате в странном маленьком деревянном домике с цветными стеклами. Соседи не знали, кто живет рядом с ними. Он просил меня не проговориться.

— Мне нравится эта избушка на курьих ножках,— сказал он мне,— в прошлом это, по-видимому, была дача какого-то чудака.

Литературных тем он теперь сознательно избегал, интересовался медициной, особенно медициной народной — травами.

— Вы обязательно попробуйте это,— говорил он, а сам заметно угасал.

Через несколько месяцев я его вновь встретил в том же Сестрорецке. Он выглядел более бодро, очень интересовался переводами финских писателей.

— Трудный язык,— говорил он.— Пытался учиться, овладел только внешними формами. Приходится прибегать к содействию подстрочника, чего я не люблю и никогда не любил.

Когда Михаил Михайлович умер, я был далеко от Ленинграда.

Потом я не раз стоял на маленьком сестрорецком кладбище у железнодорожной насыпи, где могила Зощенко. На могиле всегда были свежие цветы.

КУЗЕНЫ

1

Было это давным-давно, осенью 1915 года. Поступал я тогда в Московский университет на юридический факультет. Там, в канцелярии университета, я познакомился с двумя приятными молодыми людьми. Скоро я подружился с ними. Они были в ту пору очень похожи друг на друга. Их все считали родными братьями, но оказалось, что это кузены, они даже приехали в Москву из разных городов. Но студенты их называли «братья Шварцы».

Старший из них, Тоня, был общительным, всегда каким-то радостным. Его любили. Он становился центром любого студенческого кружка. Говорил очень красиво. Был у него приятный бархатный голос. Он любил рассуж-

дать о жизни, об общественных задачах и особенно о философии. Он считал себя философом.

Не раз выступал он на семинаре профессора Вышеславцева по философии права. После его выступлений, случалось, раздавались аплодисменты, что совсем не было принято в стенах университета, особенно того времени. Впрочем, не чужд он был и искусству. Я помню его доклад в студенческом эстетическом кружке «Магические нити творчества Гофмана». Он тогда увлекался знаменитым немецким романтиком, у нас еще сравнительно малоизвестным. Но особенно серьезно он занимался философией и теорией права.

Читал он очень много не только по-русски, но и на французском и немецком языках, которыми свободно владел.

Преподаватели высоко оценивали его способности. Один молодой приват-доцент сказал, что Тоня в будущем станет выдающимся ученым. Он был еще только на втором курсе, но все были уверены, что его оставят при университете, неизвестно только, по какому предмету — по философии или по теории права.

Женя рядом с ним казался простоватым и скромным. Он был молчалив, и чувствовалось, что он не совсем еще акклиматизировался в университете. Многое его удивляло. Он ведь только что приехал из далекого Майкопа, тогда захолустного городка.

Я тоже только что поступил в университет, но еще в гимназические годы бывал в Москве, да и мой родной Ростов по сравнению с Майкопом мог казаться столицей.

Женя терялся или, может быть, даже прятался в тени своего даровитого кузена. При этом у них была близкая дружба, и Женя обо всем советовался с ним.

Но странно... Что это — провалы памяти? Я хорошо помню обоих кузенов в Московском университете в 1915—1916 году. А дальше наступили боевые дни революции, самые интересные дни моей студенческой жизни. Что делали кузены Шварцы в эти дни? Каковы были их политические

убеждения? Хоть убей, не помню. И только много позже, в тридцатых годах, я выяснил у них, в чем было дело.

Оба кузена, как полагалось тогда студентам, выехали домой на святочные каникулы 1916 года и в Москву не вернулись. Тоня остался в Краснодаре, Женя в Майкопе. Шла война, и родители не отпустили их.

Для Тони, который уже прижился в Москве и мечтал об ученой карьере, это был особенно сильный удар. Он рвался в Москву, хотел даже удрать, уехать без согласия родителей, но тут тяжело заболела его мать и ему пришлось остаться.

2

У себя на родине, в Ростове, я встретился с кузенами через несколько лет. Они приехали продолжать университетское образование, но провинциальный университет с преподавателями не очень высокой квалификации (это был эвакуированный в Ростов в дни войны русский Варшавский университет) не слишком их привлекал.

Очень скоро оба они связали свою судьбу с работавшим тогда в нашем городе новаторским театром студийного типа, носящим название «Театральная мастерская».

Первоначально это был студенческий кружок, организованный композитором М. Гнесиным, человеком многообразных художественных интересов, мечтавшим о синтезе искусств.

Репертуар молодого театра был необычен, особенно для провинции. Ставились пьесы строго литературные, в большинстве близкие к символизму. Играли «Незнакомку» А. Блока, «Ваньку ключника и пажа Жеана» Ф. Сологуба, «Сказку об Иуде, принце Искариотском» А. Ремизова. Ставились также пьесы Метерлинка, старый фарс «Адвокат Пателен», пытались играть и «Маленькие трагедии» Пушкина.

В конце 1919 года «Театральная мастерская» стала профессиональным театром. Это вызвало неудовольствие

местных театральных работников, которые считали «Мастерскую» дилетантским, любительским кружком.

К этому времени Антон Шварц (актером он был недолго) становится идеологом театра, выступает на многих собраниях против университетских профессоров и против некоторых слишком ретивых работников искусств. Выступает всегда с большим успехом. В это время он пробует свои силы и в литературной критике, правда, это преимущественно были устные выступления, но бывали и напечатанные статьи — «О поэзии», «Об имажинистах и ничевоках», которые тогда подвизались в Ростове.

Начинал выступать он тогда и как чтец, и тоже с успехом, но уж никак не помышлял связать с этим делом свою жизнь и свою судьбу.

Помню, он очень удачно читал «150 000 000» Маяковского на большой площади, где незадолго до того был снесен памятник Александру II. Это его чтение на всех произвело большое впечатление. Вскоре его пригласили прочесть эту поэму для делегатов Областного партийного съезда.

Женя оставался простым и скромным, но у него уже не было растерянности и робости студенческих лет. Он играл в «Театральной мастерской» довольно много, часто ответственные роли. Играл Звездочета в «Незнакомке», Понтия Пилата в пьесе Ремизова, судью в «Адвокате Пателене».

В спектакле «Ошибка смерти», который игрался всего один раз в присутствии автора, В. Хлебникова, жившего тогда в Ростове, Е. Шварц играл одного из гостей.

Мне он особенно запомнился в образе пушкинского Сальери. Может, не хватало у него мастерства для такой ответственной роли, но замысел ее был очень интересен.

Кстати, совсем недавно молодой человек, писавший дипломную работу о Евгении Шварце, уверял меня, что я ошибся. Никаких материалов об исполнении Шварцем этой роли он не нашел. Но где их было найти? Печатных афиш в «Театральной мастерской» тогда не было, печатных программ не выпускали. Рецензии были крайне редки.

Евгений Шварц играл Сальери не менее десяти раз, играл с успехом, и в этой роли я видел его два или три раза.

Летом 1921 года в одном из ростовских садов некоторое время существовал «Студенческий театр малых форм». В этом театре Женя Шварц работал как конферансье. Он очень легко овладел этим сложным искусством. Это был конферанс живой и остроумный, только, может быть, слишком тонкий для случайного «садового» зрителя.

В перерывах между номерами он исполнял живые веселые сценки, насколько помню, очень остроумные. Я очень удивился, когда узнал, что он сочинил их сам. Помню, что тут впервые мне пришла неожиданная мысль: а пожалуй, у нашего тишайшего Евгения Шварца есть литературный талант. Впрочем, об этом я скоро забыл.

Маленький провинциальный театр «Театральная мастерская» с таким необычайным художественным репертуаром привлек внимание прессы. О нем уже писали в московских и ленинградских журналах, и ранней весной 1922 года были организованы его ленинградские гастроли.

Время для гастролей было выбрано не очень удачно. Театры переходили на самоокупаемость, проверялись рублем — начинался нэп. Театральная общественность Ленинграда да и пресса приветливо приняли молодой театр. Появились интересные статьи. Но что знала об этом театре широкая публика? Сборов он не делал и скоро прогорел. В Ростов он не возвратился. Некоторые актеры бросили сцену, другие стали выступать, и не без успеха, в московских театрах. Оба Шварца остались в Ленинграде.

Было в них что-то, что роднило их с коренной ленинградской интеллигенцией,— глубокая культура, разнообразие знаний, своеобразная тонкая ирония. Тоня не был еще прославленным чтецом, а Женя не напечатал ни слова, но оба были очень дружески приняты ленинградскими работниками искусств и культуры, сблизились с ними, стали для них своими, родными. И вся дальнейшая творческая жизнь обоих Шварцев связана с художественной культурой города Ленина.

3

Мы привыкли, что городские афиши пестрят сообщениями о выступлениях чтецов. Почти вся литература, как классическая — русская и переводная, так и новая, советская, живет в звучании. Жанр этот исключительно популярен на эстраде не только в крупных центрах, но и на далекой периферии. И, вероятно, уже немногие знают, что искусство художественного чтения совсем молодое, что возникло оно только в советское время, точнее, на рубеже двадцатых и тридцатых годов.

Конечно, давно уже выступают с эстрады артисты с чтением стихов и прозы. Были и знаменитые мастера этого дела, вроде Горбунова. И все же художественное чтение как самостоятельное искусство не существовало. Речь идет о художественном чтении как особой отрасли творчества, со своими приемами, своими методами, своим отношением к литературному тексту. Внешне это выражается в том, что художественное чтение нередко стало занимать весь концерт или большую его часть.

Рождение этого жанра обусловлено культурным ростом слушателя и вместе с тем идейным ростом советской эстрады, широким распространением в народных массах литературы. Сыграло здесь роль и развитие литературоведения. Ведь в новых условиях чтец, как и ученый-исследователь, должен был быть не только исполнителем, но и истолкователем художественного произведения.

В становлении этого жанра большую роль сыграл Антон Шварц. Правда, основоположником нового жанра он сам считал московского артиста Закушняка. Но Закушняк читал только прозу, и было это чтение особое, интимное, адресованное в основном узкому кругу любителей. Антон Шварц демократизировал этот жанр, сделал чтение стихов и прозы массовым, рассчитанным на широкую аудиторию. Он создал ряд программ, каждая из которых была особо разработана. Потом стало привычным, но тогда казалось

необычайным, новаторским то, что артист предлагал собственное понимание писателя — его идей, его стиля.

У Антона Шварца был замечательный голос с разнообразными оттенками, с красивым бархатным тембром. А самое главное — его отличала большая культура, ведь не случайно, что он дружил со многими выдающимися ленинградскими писателями и учеными.

...Дело было в Москве в 1928 году. Туда приехал Антон Шварц, еще никому не известный (да и по профессии он еще не был чтецом, он занимался тогда адвокатурой). Я помню его выступления в помещении студии Завадского, а потом в Доме печати. Он читал «Медного всадника». Публика — в основном писатели, журналисты, актеры — удивлялась, как это: весь вечер одна поэма, не будет ли скучно. Нет, скучно не было. Выступления прошли с успехом.

Характерно, что в это время в Москве еще почти не было профессиональных чтецов. Правда, уже начинал выступать Владимир Яхонтов, но его замечательное искусство только родственно художественному чтению. Это скорее театр одного исполнителя.

Тогдашние московские выступления Шварца не прошли бесследно. У него появились подражатели. У него учились молодые чтецы. Как это часто бывает в искусстве, некоторые ученики превзошли своего учителя, особенно в послевоенные годы, когда он уже был болен и не мог работать с прежней силой. К тому же он был человек скромный и не стремился к шумным успехам. Он заботился о младших товарищах, радовался их достижениям.

Мастерство исполнения всегда сочеталось у него с художественным вкусом, с пониманием художественного стиля исполняемого произведения. Над каждой своей программой он работал долго. Мне кажется, что это частично была литературоведческая работа. Недаром свою небольшую книгу он назвал «В лаборатории чтеца». Да, это была подлинная лаборатория нового искусства, лаборатория художественного вкуса.

Очень широк и разнообразен был его репертуар. Он охватывал почти всех русских классиков, очень многих писателей иностранных и советских. Были у него программы особо удачные, надолго сохранившиеся в его репертуаре: «Сказки Андерсена», «Полтава», «Мертвые души». Была программа, посвященная образцам высокой стилистики в русской литературе, от Пушкина до Горького. Он много читал советских поэтов, особенно Маяковского, Есенина, Багрицкого.

Он работал, несмотря на болезнь, и в послевоенные годы, но его заслуги были в значительной мере забыты. Жанр, у истоков которого он стоял, за какие-нибудь десять — пятнадцать лет завоевал широкую популярность. Это его радовало, но немного пугала опасность стандартизации. Ему не хотелось, чтобы его искусство стало банальным жанром эстрады, чтобы приемы чтецов повторялись. Увы, уже были симптомы этого.

Несколько лет назад в Ленинградском Дворце искусств состоялся вечер памяти Антона Шварца. С некоторой опаской шел я туда. Я знал, что граммофонные записи дают приблизительное представление о подлинном искусстве чтения, о мастерстве актера. Но на этот раз «Мертвые души» в исполнении Шварца звучали в полную силу. Зрители много смеялись и воспринимали повествование восторженно. Так в последний раз услышал я голос своего друга.

4

Когда мне сообщили, что Женя Шварц написал книгу, я удивился. О своих старых впечатлениях, связанных со студенческим театром, я уже успел забыть.

— Его книжка,— сказал мне Антон в Москве,— пользуется успехом и проверена на детях. Им нравится.

Я уже говорил, что, еще не будучи писателем, он был известен в среде ленинградских литераторов, в его талант верили. Особенно близок он был с детскими писателями

Ленинграда — работал в редакциях детских литературных журналов, сотрудничал, но больше анонимно.

Лет через пять после выхода первой книги он был уже популярным писателем, и я возил к нему на суд в Ленинград не очень удачную свою повесть.

Его творчество было оригинальным и своеобразным, недаром его шутя называли «Детским гением».

Этот «Детский гений» был очень скромным и за писательскими лаврами не гонялся. Передавали его слова, ставшие потом крылатыми:

— Мне как-то неловко называть себя писателем. Это все равно, что называть себя красавцем.

По-видимому, это уважение к писательскому званию было у него воспитано с детства. В старой провинции интеллигенция преклонялась перед писателями.

Особой популярностью скоро стали пользоваться драматические сказки Евгения Шварца. Слова некоторых героев «Золушки» и «Снежной королевы» стали поговорками: «Я не волшебник, я еще только учусь», «Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники».

Я не считаю себя знатоком детской литературы и не берусь точно определить, какое место он занял в этой области. Но я не на шутку удивился, когда скромнейший Евгений Львович сказал мне, что в детской литературе ему тесно. Потом он спохватился и просил никому не передавать его слов.

Однажды мы гуляли с ним по двенадцати дорожкам Павловского парка.

— Вот,— сказал он,— я прошел восемь. Четыре мне остаются — и самые важные.

Я спросил, как понимать эти его слова.

— Я очень люблю,— сказал он,— и детскую литературу, и самих детей. Но все же приходит время попробовать что-то другое.

Вскоре была премьера «Тени». Пьеса, мастерски поставленная Н. Акимовым, всем очень понравилась и, ка-

жется, поразила. На ее просмотре аплодисменты раздавались чуть ли не после каждой фразы.

Знаменитая андерсеновская сказка была идейно и философски переосмыслена. Но дело было не только в этом. Чувствовалось, что жанр пьесы новый, необычайный. Драматическая сказка для взрослых — таких в богатой русской драматургии почти не было.

А новый жанр вызвал к жизни и новых героев. Герои сказки стали неожиданно жизненными, современными. А другие подобные сказки — «Голый король», «Обыкновенное чудо» и особенно «Дракон» — получили уже ярко выраженную политическую, антифашистскую направленность.

Евгений Шварц был добродушным, мягким, ироничным и в жизни, и в своем творчестве. И в этих пьесах он обличал зло тоже по-своему, казалось бы добродушно. Но это было не так. У него были свои сложные пути обличения мещанства, не сразу они были всеми поняты.

Автор этих строк считал, что в литературе он все понимает, но, разумеется, ошибался. Я никогда не думал, что скромные сотрудники «Гудка» Илья Файнзильберг и Женя Катаев станут выдающимися советскими писателями, классиками советской литературы Ильфом и Петровым.

Я не сумел предугадать и литературную судьбу Евгения Шварца, несмотря на долгое и сравнительно близкое знакомство с ним. Говорят: нет пророка в своем отечестве...

5

В тихом поселке Комарово в маленьком синем домике недалеко от вокзала жил добрый волшебник...

Так думали дети, которые хорошо его знали и часто с удовольствием ходили к нему в гости... Так думали и комаровские собаки, если собаки обладают способностью думать. А может быть, когда имеешь дело с волшебни-

ком, думать особенно не следует. Ни к чему это. Лишнее...

Мне казалось, что в старости, в послевоенные годы, Евгений Львович приобрел некоторые черты своих сказочных персонажей.

Помню, я приехал к нему и застал странную картину. На заборе сидели две большие собаки, а между ними внук Евгения Львовича. Все сидели очень тихо, степенно, что-то наблюдали.

— Что это значит? — спросил я.

— Как вы не понимаете? — сказал Евгений Львович.— Они смотрят на поезда.

И тут я понял, что смотреть на поезда — это очень важное занятие.

С животными он обращался мило и просто, они были его друзьями, постоянными собеседниками, подлинными «меньшими братьями».

Помню его разговор с двумя кошками, они очень внимательно прислушивались к его словам и нежно мяукали ему в ответ. Это была подлинная беседа или, как теперь торжественно говорят, «диалог».

По-моему, он знал все оттенки собачьего языка. Еще в юности был у него эстрадный номер. Суд. Выступления свидетелей, обвинителя, защитника, подсудимого — все это различные оттенки лая, все это на собачьем языке.

Да что там собаки — мы с ним однажды гуляли по Комарову ранней осенью, и он разговаривал с воронами и сороками на их «диалекте». Уморительно свистел, и они ему отвечали.

Мне рассказывали, как приехал к нему в гости профессиональный дрессировщик и был очень удивлен его уменьем обращаться с животными. «Мы такого не знаем» — так передавали его слова.

Да, животные любили Евгения Львовича, любили и люди. К нему приезжали в гости очень многие, порой совсем незнакомые. Несмотря на болезнь, он принимал всех, что вызывало справедливое неудовольствие домашних.

Его шестидесятилетие торжественно отмечалось в Ленинграде, но особенно интересно было его чествование в Комарове. Туда приехали артисты детских театров Москвы и Ленинграда в гриме и костюмах героев сказок Евгения Шварца. Я помню уморительный рассказ Красной Шапочки, как она ехала к Евгению Шварцу на «Красной стреле».

Он оставался очень скромным человеком. Когда я рассказал ему, что на премьере «Снежной королевы» в Берлине присутствовал Вильгельм Пик, он даже сразу не понял, о ком идет речь.

— Президент Германской Демократической Республики! — пояснил я.

— Ай да мы! — сказал Евгений Шварц.

Другой раз его обрадовало сообщение о том, что «Тень» с успехом идет в Берлине. Он смеялся, узнав, что представители английской армии обиделись, когда король теряет голову, и вышли из зрительного зала.

У обоих кузенов были добрые, хорошие сердца, но сердца слишком слабые. Антон Шварц умер в 1954 году. Помню, как мы с Женей стояли у его могилы. Был осенний пасмурный день. Я первый раз видел Женю плачущим, он плакал и стыдился своих слез.

А через четыре года пришел его черед.

Только после его смерти началась исключительная популярность его пьес у нас и за рубежом: и в странах народной демократии, и в капиталистических странах, по всей Европе, даже в Турции и Японии.

Как различно были поставлены по этим пьесам спектакли! Это были спектакли для детей и для взрослых. Не только драмы, но и балеты, оперы, пантомимы, цирковые и эстрадные представления. Особенно популярны «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Голый король». Многочисленные постановки их во Франции, Англии, Швейцарии, ФРГ отличаются антифашистской направленностью.

Может быть, со старых, давних времен, после Гоцци

и Тика, не было такого популярного драматурга-сказочника.

Я знал этого замечательного писателя и человека с юношеских лет, но не сумел по-настоящему оценить его талант.

Да и сам он, хоть и был волшебником, пророком не был. А это, оказывается, разные профессии, совсем не схожие таланты.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЭРУДИТЫ

1

Кажется, оно вымирает, это изумительное племя ленинградских эрудитов. Сейчас приходится встречаться лишь с последними его представителями. Молодежь, даже очень ученая, слишком занята своей узкой специальностью, ей не до мелочей прошлого. Ее познания, может быть, очень капитальны, но не столь разносторонни.

Теперь все больше входит в моду коллекционирование, собирание всякого рода предметов. Но как часто коллекционеры становятся рабами своих вещей! Ленинградские эрудиты первых советских десятилетий не были коллекционерами (собирали только книги) — они были коллекционерами ума. Такие коллекции особенно ценны и важны. Оттого они сыграли активную роль в развитии культуры города Ленина.

По-своему замечательной была эрудиция Луначарского. Она служила огромному делу перестройки жизни. Соревноваться с ним было очень трудно. Ленинградские эрудиты, о которых речь будет ниже, несколько более академичны, но и их знания никогда не лежали мертвым грузом.

Я помню, как два уважаемых ленинградских интеллигента крайне серьезно и с большим пафосом обсуждали все детали военной формы солдат и офицеров разных полков двадцатых годов прошлого века. Перед ними не стояло

никаких особых задач, ни исторических, ни художественных (это могло быть нужно для исторического спектакля, кинокартины, даже для портрета). Время, конечно, это было благородное, время Пушкина и декабристов, и все же вряд ли так важны были эти все подробности и детали.

А форменные есть отлички:
В мундирах выпушки, погончики, петлички, —

это слова полковника Скалозуба из «Горя от ума». Разумеется, наши эрудиты на него никак не были похожи, а вот ради игры ума они решали этот кроссворд и тоже увлекались «погончиками и петличками».

Да, разные были эрудиты в нашем великом городе, немногих я знал, и знал преимущественно тех, которые занимались литературой и искусством. В этой области они знали все.

Вероятно, были другие эрудиты, специалисты точных наук. Но, увы, я с ними не встречался.

Я расскажу только о четырех наших эрудитах, которых знал хорошо. И, надо думать, читатель согласится со мной, что это были замечательные, необыкновенные люди.

2

Еще в гимназические годы Александр Александрович Смирнов свободно владел несколькими языками: немецким, французским, английским, итальянским. Знал хорошо греческий и латынь. В университете изучил испанский, португальский, голландский, датский. «В дни молодости,— говорил он,— овладеть новым языком не представляло для меня особой трудности. Память у меня была очень хорошая. Я стремился найти человека, который хорошо бы знал этот язык. Беседа с ним была очень важна, она сочеталась с грамматическим изучением, с чтением отрывков, хорошо мне известных в переводе».

Тогда же, в университете, Александр Александрович заинтересовался кельтскими языками, заинтересовался по-

тому, что они мало изучены. Во время научной командировки во Францию он стал уже всерьез заниматься кельтскими языками. Одно время он был даже секретарем Общества по изучению кельтских языков в Париже. Тогда же прочел курс кельтской филологии в Коллеж де Франс. Дело было в 1912—1913 годах, до первой мировой войны.

В те дни, рассказывал Александр Александрович, он прошел пешком почти всю Бретань, объехал верхом весь Уэльс, побывал в самых глухих деревнях северной горной Шотландии. Там сохранились старые наречия кельтских языков.

Замечательно рассказывал Александр Александрович об этих своих путешествиях. Как-то в Бретани в небольшом кабачке он беседовал с группой крестьян, нет, не по-французски, на их родном бретонском языке. Расположенный недалеко замок славился своими «привидениями». Впрочем, оказалось, что почти все бретонские замки были знамениты своими призраками. Это своеобразная реклама замков. Когда он пытался заикнуться в беседе с крестьянами, что он в эти призраки не верит, они посмотрели на него, как на безумного.

— Тут стало для меня понятно это отношение к призраку, как к чему-то сугубо реальному. В Лондоне шекспировских времен (даже несколько позже) было издано особое руководство для бесед с призраками. С ними надлежало говорить по-латыни, притом с особой почтительностью. Сохранился и договор со студентом, который обязался беседовать с призраками; подписал этот договор хозяин лабаза на случай, если призраки пожалуют к нему в гости.

Надо думать, Александр Александрович мог бы блестяще провести эти беседы. Я слышал из его уст и Вергилия, и Катулла (конечно, в подлиннике). Латинские стихи звучали очень музыкально, и даже не понимающие язык слушатели могли почувствовать их красоту.

В одном из рассказов Марка Твена профессор-латинист, попавший в Древний Рим, никак не может сговориться

с настоящими римлянами. Они не понимают ни слова из того, что он говорит. Мне кажется, Александра Александровича они бы поняли.

Студенты любили Александра Александровича, но считали его слишком тонким, слишком старомодным. Их удивляло, что Александр Александрович придерживается старых правил вежливости, умеет ухаживать за дамами. Как говорил один молодой человек, «не назойливо, по-своему красиво». А сам Александр Александрович жаловался:

— Женскую красоту теперь по-настоящему ценить разучились.

Кто-то сострил в беседе с ним:

— Вам бы написать новое руководство хорошего тона.

— А что же,— сказал он,— в Англии это считается почтенной литературой. Например, у нас мало знают, что Даниэль Дефо написал две книги «Руководство для поведения джентльменов». Очень хорошие книги. Написаны с большим вкусом и дают представление о быте и поведении людей того времени. Такие книги писали и некоторые другие видные писатели XVIII века.

Несмотря на свое знание многих языков, Александр Александрович до революции почти не занимался переводами. К этой работе он был привлечен уже в послереволюционное время. Впоследствии он особенно много редактировал, переводил со многих языков, особенно с французского и английского.

Мы, может, и не представляем, насколько это была важная и ответственная работа. В сущности, русский читатель, читатель массовый, только в первые советские годы получил возможность по-настоящему познакомиться с выдающимися произведениями западной литературы. Обычно они были искажены и сокращены в старых переводах. Были, конечно, здесь и исключения, но исключения только подтверждают правила.

В этой огромной культурной работе Александру Александровичу принадлежит видное место, он помогал пере-

водчикам, был образцовым редактором, а не формальным редактором, который ставит знаки препинания и переделывает ту или другую фразу. Молодые переводчики невольно оказывались его учениками. Он часто беседовал с ними о самых принципах, об эстетических основах художественного перевода. Одна из таких его учениц-переводчиц сказала:

— Право, поражаешься, сколько знаний может поместиться в одной черепной коробке...

Я познакомился с ним давно, еще в 1918 году, в Харьковском университете, где он читал курс о Шекспире и английских драматургах его эпохи. Я был тогда студентом-юристом, о его лекциях узнал довольно поздно, но прослушал курс с огромным удовольствием — это было для нас откровением. Шекспира еще как-то знали, но о других драматургах, его современниках, тогда не имели никакого понятия.

Александр Александрович был одним из первых советских шекспироведов и автором первого в советской литературе капитального труда о Шекспире. Его работа оказывала непосредственную помощь и театрам, ставившим шекспировские пьесы.

Во время работы тогдашнего Большого драматического театра над «Ричардом III» он несколько раз беседовал с актерами и постановщиками о Шекспире и об этой пьесе.

На одной из таких бесед мне посчастливилось присутствовать. Его спрашивали, как надлежит изображать шекспировских рыцарей и лордов.

— Только не утонченные лорды времен королевы Виктории! Вообще, мы лучше знаем Англию девятнадцатого века, и это нам мешает понять Британию шекспировских времен. Лорды, показанные Шекспиром,— это просто богатые мужики. Богатые мужики, и только. Руки у них должны быть грязными, одежда не очень чистая. Они участвуют в хозяйственных работах вместе со своими крестьянами и слугами. Конечно, тогда, когда нет войн и разбойничьих походов.

Впоследствии и постановщики спектакля, и актеры, и талантливый художник Тышлер, оформлявший спектакль, говорили, что Александр Александрович очень помог им понять шекспировскую эпоху.

Смирнов редактировал переводы Шекспира, но сам Шекспира не переводил.

Товарищи упрашивали Александра Александровича перевести хотя бы одну из шекспировских пьес.

— Нет,— говорил он,— Шекспира должен переводить поэт, а я, к сожалению, таковым не являюсь.

Надо сказать, что Шекспира успешно переводили не только Пастернак и Лозинский, но и переводчики, которые стихов не печатали, поэтами себя не считали. Здесь сказалась и скромность Александра Александровича, и его исключительно серьезное отношение к художественному переводу.

Однажды я слышал интереснейший рассказ Смирнова о том, как жили люди в далеком прошлом.

В одном обществе, где были и историки, возник вопрос: можно ли описать жизнь среднего человека, скажем, XVII — XVIII века? И Александр Александрович взялся описать жизнь человека конца XVI века, скажем, немца, бюргера или ремесленника.

Все, говорил он, здесь сложно, для нас непонятно. Например, костюм. Тогда почти не знали пуговиц, пользовались завязками. Современный человек не мог бы носить костюм того времени. Театральные костюмы только внешне его воспроизводят.

Свет. Восковых свечей еще не знали, свечи были сальные, грубо сделанные. В помещениях было обычно очень темно. Спички появились только в XIX веке. Для получения огня использовались маленькие кремни. Высечь огонь тоже было нелегкое дело.

Еда. О чае и кофе еще не имели никакого представления. Утром пили подогретое пиво (во Франции вино). В обед — похлебку из общей миски. Мясо подавали боль-

шими кусками, вроде окорока или телячьей ножки. Куски отрезали ножом и ели руками.

Книги. Они были очень большими, очень дорогими, и, конечно, мало кто умел читать. А читали преимущественно днем, оттого что при вечернем освещении легко было испортить глаза.

Это был увлекательный рассказ (разумеется, он здесь передан неполно), разоблачающий старую романтику, наивные мечты о прекрасном прошлом.

Александр Александрович был человеком очень разносторонним. Он был блестящим шахматистом, выступал с сеансами одновременной игры. Говорили, что он автор интересных шахматных задач, но издавать их почему-то не хочет.

Я видел его на отдыхе в Коктебеле, видел, как он мастерски играет в теннис. При этом он любил рассказывать о развитии игры в мяч в разных странах Европы. А в молодости он, оказывается, был «мушкетером» и свободно владел и эспадроном, и рапирой, и, конечно, блестяще знал как технику, так и историю фехтовального искусства.

Когда Александр Александрович улыбался, он мне немного напоминал античные статуи Вакха. И сам он както сказал, что в студенческие годы его называли Вакхом. И верно, было в нем что-то вакхическое — бурное, радостное и, главное, жизнелюбивое. Радостное ощущение жизни.

Он начал свою научную работу еще в дореволюционное время, но по-настоящему раскрылись его дарования только в Советской стране, когда наука стала близка к живой жизни. Он не просто перешел из старого университета в советский. Он стал подлинным советским ученым.

Он был замечательным педагогом, и многие наши филологи и литературоведы учились у него. Он знал блестяще литературы разных европейских стран, старую и новую, и заражал людей этой своей любовью к литературе и художественному творчеству. Он был человеком очень ярким и многообразным.

3

Теперь о Пиотровском почти забыли. Правда, вышла книга, ему посвященная, но ее читали, вероятно, немногие...

Между тем в двадцатых годах, да и в начале тридцатых, трудно было найти человека столь популярного, особенно среди молодых работников искусств. Более того, его личные взгляды и вкусы оказывали влияние на искусство Ленинграда, искусство театральное, потом кинематографическое.

Я знал Адриана Ивановича Пиотровского очень давно, когда он был еще совсем юным. Приятный, белокурый мальчик читал стихи. Таких было тогда немало. А через два-три года, когда я снова приехал в Ленинград, этот мальчик стал играть ведущую роль в искусстве. И дело было не только в его таланте и обаянии, но и в умении влиять на людей, убеждать их в своей художественной правоте. Был у него и талант организатора, сравнительно редкий у работников искусств. И всеобъемлющей была его эрудиция. Казалось, он знал все...

В репертуаре ленинградских театров появились пьесы этого юноши, и оригинальные, и переделки, переводы,— впрочем, это были тоже его пьесы, только построенные на чужом материале. В одном театре шла его пьеса «Падение Елены Лей», в другом его перевод «Лизистраты», в третьем «Эуген несчастный» Толлера в его переводе и обработке.

Он стал выступать как теоретик театра и кино, и выступал бурно, пламенно; он писал множество статей, рецензий, участвовал в капитальных работах (например, в первом томе «Истории советского театра»). В его суждениях бывали подчас и серьезные ошибки. Но ведь настоящая теория советского искусства тогда только еще создавалась. Это было делом трудным и сложным, в то время даже высказывания Маркса и Энгельса об искусстве были не полностью известны. Теоретические основы советского ис-

кусствоведения выковывались в напряженных исканиях, в борьбе.

Он, например, преувеличивал роль самодеятельного искусства, часто противопоставляя его искусству профессиональному. Но следует учесть, что тогдашняя ленинградская самодеятельность занимала ведущее место в стране. Сам он немало сделал для развития самодеятельного искусства нашего города. Из ленинградской самодеятельности вырос ленинградский ТРАМ, оригинальный и талантливый молодежный театр, во многом определивший развитие ТРАМовского движения по всей стране. Он стал одним из руководителей ТРАМа, его теоретиком и драматургом. Много тут было ярких и талантливых исканий.

Мне кажется, что влияние немецкого экспрессионизма, особенно заметное в ленинградских театрах того периода, тоже как-то отражало взгляды и вкусы Адриана Ивановича.

С ним очень считались театры, драматурги, писатели, художники. И определялось это отнюдь не служебным положением, а в основном его художественным и отчасти организаторским талантом.

Скоро Пиотровский начал работать в кино, где его организаторский талант проявился, пожалуй, ярче всего. Он был художественным руководителем Ленфильма.

Это было время расцвета Ленфильма, время создания знаменитых картин, и все прославленные режиссеры в один голос восторженно отзывались о Пиотровском. Многие из них считали, что именно ему они обязаны своими успехами. Об этом говорили и писали создатели «Чапаева» братья Васильевы, Козинцев, Трауберг, Эрмлер, Хейфиц и многие другие.

Сложные вопросы он разрешал с большим искусством, и все знали, что в трудных случаях надлежало направиться «к Адриану».

Мне кажется, значение его деятельности в развитии кинематографического искусства до сих пор еще не

оценено. Об этом всегда говорят творческие работники кино, но это недостаточно исследовано теоретиками киноискусства.

Адриан Иванович был человеком исключительно доброжелательным, приятным, обаятельным. Он был замечательным собеседником, острым и всегда интересным. Поражал своим вниманием к людям. Он был исключительно гостеприимным. После нескольких статей автора этих строк, которые ему понравились, он пригласил меня к себе домой, разговаривал со мной долго и внимательно. Мне казалось, что его интересует каждый человек, который может сказать что-то свое в советском искусстве или критике. Это была особая заинтересованность в работе товарищей, живая, творческая заинтересованность.

Он был современен, очень современен. Иногда было такое впечатление, что он стремился перегнать время, забежать вперед. Он создавал молодые театры, коллективы самодеятельности, неустанно искал новые темы и сюжеты для кино. Профессиональные театры, я думаю, тоже многим ему обязаны, особенно Большой драматический театр и Малый оперный. В этих театрах он сравнительно долго работал, был заведующим литературной частью.

Этот деятель нового искусства, такой боевой, такой современный, великолепно знал античность, особенно античное искусство и литературу.

Он был сыном знаменитого в свое время профессора Фаддея Зелинского, блестящего знатока античности. Мать его тоже занималась античной литературой. Одним словом, по его собственному выражению, любовь к античности он всосал вместе с молоком матери. Пиотровскому принадлежат лучшие русские переводы великого комедиографа Аристофана и первого великого трагика Эсхила.

И мне, и многим товарищам Пиотровский говорил, что без творческого освоения великого античного искусства он не мог бы заниматься искусством современным, не мог бы переводить античных авторов живым языком. А без увле-

чения современным искусством не мог бы понять классиков.

— Сравнительно поздно я понял,— говорил он,— что большинство классических авторов — замечательные народные и политические писатели. Особенно Эсхил.

Я слышал в его чтении отрывки из «Прометея» на древнегреческом языке. Я мало понимал текст, но мне казалось, что трагическое начало звучало почти по-современному.

Замечательно читал он стихи, как-то очень поэтично. И не только античные стихи, не только свои переводы. Читал он стихи русских и французских поэтов (французским он владел свободно). Ему даже не раз предлагали выступать с чтением стихов с эстрады, но он упорно отказывался.

В искусстве он был очень целеустремленным, увлекающимся. Может быть, не всегда удавалось ему обобщить, обдумать то, что уже сделано. Случалось ему и ошибаться. Однако в целом его деятельность необычайно способствовала росту и развитию тех многочисленных областей искусства, в которых он работал и творил.

Это был необыкновенный человек, замечательный эрудит, человек разносторонних дарований, человек Большого Искусства.

4

Я знал его лучше, чем других. Часто пользовался его советами, бывал у него, возникали у нас общие литературные замыслы, правда неосуществленные. И все же, когда он умер, выяснилось, что я знаю о нем довольно мало, во всяком случае не знаю всего. Видно, он не очень любил рассказывать о себе и особенно о своих творческих неудачах.

А я ведь знал такие, пожалуй, неожиданные факты из жизни Константина Николаевича Державина,— знал, например, что он еще в восемнадцать лет был директором

театральных мастерских Мейерхольда и в том же нежном возрасте печатал модные тогда, почти заумные статьи. Знал, что к двадцати годам он стал театральным режиссером и драматургом, сам ставил свои пьесы, и одна из них («Похождения Гофмана») была даже довольно популярна. Но вот что примерно в том же возрасте Константин Николаевич был и кинематографическим режиссером и поставил две (по-видимому, не слишком удачные) картины — об этом мне стало известно только через много лет после его смерти.

Я знал его как специалиста в области русской и иностранной, преимущественно романской, литературы (французской и испанской). Знал его также как исследователя славянских литератур (в поздние, уже послевоенные годы). Но вот что Константин Николаевич написал когда-то учебник турецкого языка — это мне и в голову не могло прийти. Я узнал об этом тоже только после его смерти. Никогда он не говорил, что занимался турецким языком или даже что интересуется турецкой литературой.

Внешне он казался человеком академического склада, я видел, что он много, много времени проводил за письменным столом. За этим столом он мог просидеть десяток часов подряд, не уставая, в то же время он не чурался организаторской деятельности,— например, театр он знал и теоретически, и практически. Когда он был заведующим литературной частью Госдрамы (впоследствии Театра имени Пушкина), он стремился превратить этот театр в культурный центр города. Создал при нем издательство, просуществовавшее, впрочем, недолго. Составил очень интересный пятилетний план постановок театральной классики. Если бы этот план был реализован, зритель познакомился бы с рядом выдающихся иностранных произведений, в большинстве почти неизвестных, даже не переведенных на русский язык.

Его перу принадлежали капитальные исследования творчества Сервантеса и Вольтера. Две небольшие его книги были посвящены великому русскому драматургу

Островскому. Он первый создал монографии о творчестве театров (Александринского, Камерного). Он всерьез интересовался театром Великой французской революции XVIII века. Разыскал здесь немало материалов, как выяснилось, таких, которые не были известны во Франции.

Эта пестрота его научных интересов создавала впечатление какого-то дилетантизма. Но дилетантом он не был. Все его работы были очень серьезны, академичны в лучшем смысле этого слова. Правда, некоторых уважаемых ученых поражало, что этот создатель серьезнейших трудов был в то же время автором балетного либретто («Гаяне»), сценариев популярных кинокартин («Господа Головлевы», «Дубровский») и даже цирковой пантомимы («1793 год» по Гюго), которая ставилась в Курском цирке, готовилась и в Ленинградском.

Он мне говорил, что серьезная научная работа его порой утомляет, нужно что-то другое, разнообразное.

Но вот педагогической работой он не занимался, почти не выступал и как лектор. Это, по-видимому, и привело к тому, что, когда введены были ученые степени, таковая ему не была присвоена. Он ждал, что ему присвоят ученую степень без защиты диссертации, по совокупности трудов. Очень, по-моему, хотел этого, но степени так и не дождался до самой своей смерти.

Он знал очень много, но никогда не кичился своей эрудицией.

Помню случайно услышанный мной разговор в одном из издательств. Редактор говорил о том, что товарищ, который должен был написать предисловие к одной книге второстепенного немецкого автора, тяжело заболел и скоро написать не сумеет. Никто этого автора не читал.

— Ничего,— сказал один из сотрудников издательства,— обратитесь к Константину Николаевичу. Он знает все, и, если вы сумеете убедить его, он напишет великолепно.

Затем редактор ушел в другую комнату к телефону и вернулся довольный:

— Константин Николаевич согласился.

Я потом рассказал об этом самому Державину. Он очень смеялся:

— Вот какая у меня репутация. Кухарка за повара.

Он был добрым человеком, и эту его доброту часто использовали. Очень нетрудно было его уговорить. Многие (грешен и автор этих строк) пользовались его творческой помощью. Эту помощь он оказывал по-дружески, очень приятно и тактично.

В послевоенные годы он жил в Комарове, в уютном, зеленом домике так называемого академического городка. Неизвестно, какие сокровища стерегли два свирепых пса. Константин Николаевич был гостеприимен и, по-моему, любил укрощать своих церберов, когда приходили гости.

Среди его многочисленных познаний были и познания гастрономические. Я пробовал у него диковинные блюда, как будто бы им самим изобретенные. Студень, сделанный на водке, какой-то странный соус с орехами. Однажды я получил приглашение отведать фантастический торт. Оказывается, этот торт был сделан Константином Николаевичем и его матерью по французской поваренной книге XVIII века. Он там так и назывался — «фантастический». Внешне он был многоцветен, очень красив, но на вкус человека двадцатого века оказался слишком приторным, сладким.

Раз я застал Константина Николаевича очень увлеченным. Он делал выписки из книг. Это были дуэльные кодексы на русском, французском, итальянском, испанском языках, а также старинные труды о дуэлях. Он сказал, что собирается написать большой труд о дуэлях, о месте и значении дуэли в жизни человека XVII, XVIII, XIX веков.

— Там я докажу, что Пушкин сознательно стремился к гибели, что это было самоубийство, дуэльных правил он сознательно не соблюдал.

Работу эту он, кажется, не осуществил, во всяком случае среди его бумаг она не была найдена.

В послевоенные годы Константин Николаевич много занимался славянскими языками и литературами. Он издал ряд книг о болгарской литературе и театре. Болгарский язык он знал хорошо и давно, кажется с детских лет. Говорили, что он происходит из болгар. Он отрицал это, считал себя потомком Гавриила Романовича Державина, и очень этим гордился. Даже показывал какие-то старые гравюры. По его словам, он в детстве жил в болгарской деревне на Украине и с тех пор знает болгарский язык.

В последний год жизни ему трудно было двигаться. Сколько раз, приезжая в Комарово, приглашал я его гулять. Он отказывался. Он мало двигался, все сидел, толстел, походил на каменную бабу. Был приглашен специалист для занятий лечебной гимнастикой, но ничего не выходило. Он не терпел вмешательства в свою жизнь. Умер он рано, мог бы, вероятно, написать еще немало важного и значительного. Умер человек очень талантливый, энциклопедически образованный, очень добрый и хороший. Мир его праху.

5

Его знают больше других. Даже люди молодого поколения. Особенно любители музыки. Сочинения его часто переиздаются. В филармонических программах иногда тоже встречаются цитаты из его сочинений. Популярности его способствуют и устные рассказы Ираклия Андроникова, одним из персонажей которых он является. Но тут, помоему, возникает опасность. Эти рассказы все же в какой-то мере — пародии и не всегда дают полное представление об оригинале.

Каждый ленинградский интеллигент довоенных лет видел и слышал Ивана Ивановича Соллертинского и знал, что это человек блестящий, необычайный. Талантливость его как будто не сдерживалась, била ключом. Он много лет украшал эстраду ленинградской Филармонии и других

концертных залов города. Его выступления всегда пользовались огромным успехом.

Если предъявлять строгие академические требования, образцовым оратором он, конечно, не был. Он иногда надрывался, захлебывался, а то и говорил скороговоркой, когда слишком увлекался. Но в его выступлениях было подлинное увлечение искусством, было вдохновение и образность. И было большое человеческое тепло. Оттого его восторженно принимала аудитория. Он умел просто, на редкость человечно говорить о такой сложной вещи, как музыка, говорить очень изящно и красиво, почти не прибегая к сложным музыкальным терминам.

Он умер сравнительно молодым, почти не оставив капитальных трудов, хотя писал очень много. Поэтому некоторые товарищи считают его по преимуществу популяризатором. Более того, сейчас, при новых изданиях, соединяют его небольшие книги и статьи, посвященные тому или другому автору, той или другой теме. Получается что-то вроде солидного труда. Но мне кажется, Иван Иванович Соллертинский не нуждается в таких искусственных «опусах». Его книги, достаточно многочисленные, хотя и незначительные по размеру, внесли большой и важный вклад в науку о музыке и музыкальном театре.

Он был ученым-музыковедом и в то же время замечательным писателем. Он умел как никто другой рассказать о композиторе, о деятелях музыкального театра, рассказать вдохновенно. Он создавал подлинно художественные портреты. Большинство его работ посвящены западной музыке, но у него есть ряд интересных статей и о музыке русской. Им был задуман ряд больших работ о Бородине, о Мусоргском. Вообще, он не был скрытен, любил делиться с товарищами своими планами.

Характерно, что этот выдающийся знаток музыки именно в музыке был почти самоучкой. У него было филологическое образование, он окончил даже два вуза, но первоначально занимался преимущественно испанистикой.

Я слышал от него, что он в молодости мечтал о большом труде, посвященном Шекспиру.

К музыке Соллертинский обратился сравнительно поздно. Шостакович писал, что он не умел играть на рояле. Но, обратясь к музыке, он неожиданно обнаружил необычайный вкус, знания и талант. В дальнейшем все его работы были посвящены музыке и музыкальному театру. Специалисты удивлялись его тонким, всеобъемлющим познаниям в области балета. Никаких балетных школ он, конечно, не кончал. О литературе, о драматическом театре он высказывался порой очень интересно, но это были преимущественно устные высказывания, никем не зарегистрированные.

До переезда в Ленинград он учился в недолго существовавшем Витебском университете. Там тяжело заболел преподаватель западной литературы, и тогда студент Соллертинский предложил прочесть этот курс — и прочел с большим блеском. Я слышал это от его товарища по университету, но затем это подтвердил сам Иван Иванович. История, конечно, удивительная, но дело было в 1920—1921 годах, когда не было строгих академических правил и всякое было возможно.

Еще при жизни о нем ходили легенды. По-моему, они отчасти сохранились в некоторых напечатанных о нем воспоминаниях. Ему, мол, даже не нужно читать книги, достаточно взглянуть на страницу — и он уже запоминает все. Но сам Иван Иванович говорил мне, что ночью, после работы, в постели, он читает часа три и так и засыпает с книгой в руках.

Легендарным считалось и знание им многочисленных языков. Я слышал, что он знает тридцать, сорок, а то и пятьдесят. Как-то я спросил у самого Ивана Ивановича. «Знание языка,— сказал он,— очень условное дело. Одно дело знать основы языка, кое-как в нем разбираться, другое — владеть языком в совершенстве. Природа меня наделила завидной памятью, знаю я более или менее хорошо восемнадцать-девятнадцать языков. Но знаю, конечно, по-

разному. Иногда в беседе с людьми, для которых эти языки являются родными, выясняется, что знаю очень приблизительно, но читаю на них свободно».

Что там говорить! О Соллертинском-полиглоте дает яркое представление небольшая сцена, которая произошла в Пушкине. Там в середине тридцатых годов стояли столики прямо на траве (недалеко от Екатерининского дворца). Мы присели к одному из них с Иваном Ивановичем, к нам подошла цыганка с предложением погадать. Почему-то в пригородных парках их было много. Иван Иванович заговорил с ней, по-видимому, на чистейшем цыганском языке. Она сначала ответила, а затем на лице ее изобразилось крайнее недоумение. Она не понимала, что происходит. Она восприняла все это как чудо. Затем Иван Иванович попросил ее гадать. Гадала она по моей руке. Иван Иванович ее поправлял. В конце концов наша гадалка обиделась, возмутилась, ушла от нас, не взяв даже денег. На ее лице можно было прочесть, что она принимает этого странного человека не то за волшебника, не то за шарлатана. Я и сам не совсем понимал, что произошло.

— В чем дело? — спросил я.— Вы действительно знаете хиромантию или это так, импровизация?

— Знаю,— ответил он,— я когда-то пробовал изучать оккультные науки, не верил, конечно, но изучал. Ведь при всей их вздорности они оставили след в культурном развитии человечества. Алхимия перешла в химию, астрология в астрономию. Вот мне и хотелось выяснить все это дело, об этом нет пока, кажется, ни одного серьезного научного труда.

— Иван Иванович,— сказал я,— вы же чернокнижник! Если бы вы жили в средние века, наверно, вас бы сожгли на костре.

...Он не только изучал музыку, не только ее популяризировал, не только писал серьезные музыковедческие труды. Его огромные знания оказали большое влияние на обновление концертных программ. Именно благодаря ему целый ряд выдающихся композиторов (Малер, Брукнер и

другие) стали впервые известны нашему слушателю. Он принял участие в разработке репертуара музыкальных театров, всячески способствовал его обновлению. Он дружил с советскими музыкантами и композиторами, они пользовались его советами. Его влияние на развитие музыкальной культуры было чрезвычайно плодотворным, хотя отдельные ошибки он порой и допускал.

Я как-то встретил его очень мрачным.

— Понимаете,— сказал он,— Свидерский (тогдашний начальник Комитета искусств) в своем выступлении в Ленинграде обвиняет меня в дурном влиянии на Шостаковича. Считает, что я его плохо воспитываю, внушаю всякие неправильные мысли, в частности ориентирую его на Запад, в ущерб музыке национальной. Я даже удивляюсь, как государственный человек говорит такие странные вещи. Я действительно дружу с Шостаковичем, но учить его никогда не собирался, он достаточно зрелый и культурный человек, большой художник, имеющий свои взгляды и мнения. Он иногда советуется со мной, но я никак не способен на него влиять.

Я никогда не видел Ивана Ивановича таким огорченным.

Он был человеком исключительно остроумным. Умел подмечать смешное, но, мне кажется, стремился никого не обижать при этом. Как-то было собрание театральных критиков, была дискуссия, очень путаная, наивная, нелепая. Случайно попал туда Иван Иванович, его попросили выступить.

— Началась борьба гигантов, борьба титанов,— сказал он.

Раздался смех всего зала, и споры прекратились. Что смешное убивает, это он знал очень хорошо.

Иван Иванович начал с литературных статей, но скоро перешел к работам о музыке и музыкальному театру. Однако незадолго до войны он мне говорил, что надеется вернуться к работе по литературе. Задумал статью о Льве Толстом, собирает материал для большого труда о Шекс-

пире. Наконец, надеется сказать свое слово в области сравнительного искусствознания. Задумал труд, охватывающий все виды искусства. Ему здесь были и карты в руки. Но все эти планы осуществлены не были. Архивы его почти не сохранились, в них не нашлось и следов всего этого.

В начале войны он вместе с ленинградской Филармонией был эвакуирован в Новосибирск и там неожиданно умер в расцвете сил и таланта.

Я рассказал только о четырех ленинградских эрудитах. Это были люди не только незаурядной культуры, больших знаний, но и люди подлинно талантливые. Они оставили большое наследие своим ученикам и последователям. Они принадлежали к первому поколению советской интеллигенции. Они восприняли и по-своему переработали многое из того, что пришло к ним из дореволюционного времени. В культуру родного города они внесли ценный и важный вклад. Честь им за это и слава.

УСТНЫЕ РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ

РАССКАЗЧИК И ПИСАТЕЛЬ

Многие писатели являлись замечательными рассказчиками. Говорили не хуже, чем писали. И вот теперь, на старости лет, я решил поведать читателям о некоторых устных рассказах, которые мне довелось слышать в разные годы и от разных лиц.

Увы, по-настоящему заменить писателей-рассказчиков я не смогу. Во-первых, не все помню. К тому же в каждом рассказе важен не только сюжет, важна манера передачи, особенности речи, стиль автора. Все это восстановить очень трудно, но я постараюсь по возможности вспомнить то, что слышал, и не только развитие действия, тему рассказа, но и то, как рассказывал тот или другой автор.

УСТНЫЕ РАССКАЗЫ ГОРЬКОГО

По отзывам многих свидетелей Алексей Максимович был замечательным рассказчиком. По-видимому, его знали как рассказчика еще до того, как он стал писателем. Ведь известно, что когда-то, очень давно, друг и покровитель молодого Пешкова А. М. Калюжный заставил его записать устный рассказ «Макар Чудра». Это был первый напечатанный рассказ Горького.

В некоторых воспоминаниях говорится о горьковских сюжетах, горьковских темах, которые не получили осуществления. Мало кто у нас знает, что интереснейшие устные рассказы Горького были некогда записаны Роменом Ролланом.

Мне не пришлось слышать устных рассказов Горького, но я имел удовольствие познакомиться с некоторыми из них в передаче замечательных наших артистов. И самое интересное, что они старались передать их так, как говорил сам Горький, воспроизвести особенности его речи, его интонации.

Так, великий советский артист Борис Щукин излагал неизвестный горьковский рассказ с характерным горьковским оканьем, в какой-то особенной горьковской манере. Стоит отметить, что тема рассказа, переданного Щукиным, записана и Роменом Ролланом.

Речь идет о скромном провинциальном молодом священнике, фанатически верующем, очень убежденном, посвоему вдохновенном. Этого отца Алексея даже звали нижегородским Савонаролой. Этот Савонарола во всех технических новшествах видел козни дьявола. И когда в Нижнем пошел первый электрический трамвай, он лег на рельсы, подняв крест. Его с трудом убрали. Но он перебрался с этим крестом на другие рельсы и так довольно долго мешал трамвайному движению. Пришлось его отправить в сумасшедший дом.

Щукин так подлинно воспроизводил эту историю, что перед нами как живой возникал образ этого доморощенно-

го Савонаролы. Артист не скрывал, а подчеркивал, что он подражает Горькому, исполняет этот рассказ в его манере, в его стиле, в его приемах, так что виден был и герой повествования, и сам его автор. Это производило большое впечатление.

Несколько позже, в Ленинграде я слышал неизвестный горьковский рассказ в передаче талантливого артиста Большого драматического театра (еще довоенных лет) А. Лаврентьева. Он тоже не скрывал, что подражает Горькому, читает в горьковской манере. В спектакле «Достигаев и другие» А. Лаврентьев играл Губина. И вот Горький рассказывал ему детали из жизни этого известного когда-то в Нижнем Новгороде купца.

Писатель часто описывал действительно существовавших людей. Известный исследователь и биограф Горького Илья Груздев показывал мне справочник «Весь Нижний Новгород» за 1894 и 1895 годы. Там было немало имен и фамилий горьковских персонажей. Настоящий Губин тоже «блистал» в Нижнем Новгороде, и Лаврентьев очень красочно и талантливо рассказывал со слов Горького и в его манере о «подвигах» этого человека.

Приобрел Губин где-то за границей бесшумное духовое ружье. Он и его приятель, тоже матерый купец, придумали такой оригинальный спорт: была в доме Губиных башенка, туда они тихо забирались. Мимо этого дома по улице ездили водовозы (на окраине города в рабочих районах не было водопровода). Губин стрелял в бочку из своего ружья. Если вода вытекала, а возница этого не замечал, Губин получал от своего друга двадцать пять рублей. Ну а если возчик как-то обнаруживал, что не все у него в порядке, пытался заткнуть отверстие, пробитое пулей, тогда Губин должен был платить четвертной. Таков был дикий и жестокий купеческий спорт. А ведь рабочие и их жены ждали воды...

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ БЕСШАБАШНОГО

Сотрудник «Гудка» Борис Перелешин рассказывал мне, что его друг Илья Арнольдович Файнзильберг (тогда он еще не был известен как Ильф) в дни своей молодости в Одессе собирал морские рассказы и легенды. Может, это было тогда, когда Илья Арнольдович работал в одесской газете «Моряк».

По словам Перелешина, у Ильфа с юношеских лет сохранилась толстая тетрадь в клеенчатой обложке, на которую были наклеены рисунки пароходов и парусных судов. В эту тетрадь и записывал он легенды. Впрочем, сейчас Илья Арнольдович об этом говорить не хотел.

Но однажды жена Перелешина, воспользовавшись хорошим настроением Ильи Арнольдовича, упросила его почитать что-нибудь из тетради. Тетради под рукой у него не было, и он рассказывал нам по памяти или, может быть, импровизировал. Рассказчик он был мастерский, говорил всегда серьезно и строго. Если кто-нибудь смеялся, он глядел укоризненно. Выступать с эстрады, публично, Ильф не любил и не умел. Позднее, когда соавторы стали широко популярны, то читал их произведения на вечерах всегда Евгений Петров, а Илья Арнольдович молча сидел рядом.

В том юношеском морском рассказе Ильфа речь шла о неком Мишке Бесшабашном. Это был полубродяга, полужулик. Он где-то приобрел небольшой баркас, решил «делать дела». Что-то покупал, что-то продавал. Но выходило все это плохо. Коммерция ему не удавалась. Однако моряки любили Мишку, любили слушать его «байки», его вранье и подкармливали Мишку. Но вот этот Мишка совсем обнаглел. Моряки даже решили, что он с ума сошел. Объявил себя, видите ли... Летучим голландцем. Моряки не могли перенести такого издевательства. Это как-никак популярный герой морского фольклора, персонаж всеми уважаемый.

— Не будет тебе ни огня, ни воды,— сказал Мишке старшина одесских моряков Григорий.

Все перестали иметь дела с Мишкой, больше не захотели его подкармливать, для его маленького баркаса не нашлось места на одесских пристанях. Бедный Мишка очень страдал, готов был раскаяться. Пришлось ему на своем ветхом баркасе ехать в Феодосию. Но там, на пристани, уже знали о преступлении Мишки.

— Ты обидел морскую совесть! — сказал ему один феодосийский моряк.

И тут Мишка действительно стал «летучим голландцем». Не было у него ни кола ни двора, плачет он, мучается и отправляется на своем ветхом баркасе в открытое море. Почти драматической была концовка этого комического рассказа.

Со слов супругов Перелешиных я знаю, что был и другой рассказ на близкую тему. Речь в нем шла об «огнях святого Эльма». Он тоже содержал комические бытовые черты из жизни моряков. Ильф рассказал Борису Перелешину эту историю, но подробностей Перелешин не знал. Я спрашивал об этой легенде самого Илью Арнольдовича, но он не захотел разговаривать на эту тему. По словам писателя С. Гехта, когда он спросил у Ильфа, где записанные морские рассказы, тот ответил, что тетрадь не то пропала, не то уничтожена.

Евгений Петров знал об этой тетради, даже искал ее после смерти Ильфа. Но не нашел.

Как известно, Ильф к морской теме не возвращался. У меня создалось впечатление, что у этого Бесшабашного и его друзей-моряков были отдельные черты героев знаменитых романов. Настаивать не буду, так как тетрадь с морскими рассказами не сохранилась.

СКАЗКА О ДВУХ КРЫСАХ

Как-то мы попали с Юрием Карловичем Олешей в московский зоологический сад. У каждой почти клетки Юрий Карлович рассказывал краткую биографию их обитателей. Он так шутя и называл «Краткая биография». Он

очень любил животных, но не домашних, а диких зверей. Мне кажется, что если бы удалось застенографировать эти рассказы, получилась бы замечательная детская книга. Детская, потому что Юрий Карлович обычно рассказывал полуфантастическую, почти сказочную биографию зверя. Сам он эти свои рассказы не запоминал. По-моему, это была художественная импровизация.

Когда через несколько дней я спросил в редакции «Гудка» у Олеши, помнит ли он, что он мне рассказывал, Юрий Карлович даже удивился:

— Ну что вы... нельзя все помнить.

Юрий Карлович особенно интересовался медведями.

— Вот Август Иванович (был такой медведь в зоологическом саду.— *И. Б.)* будет героем моей будущей повести.

Я не знаю, говорил ли он всерьез. Кажется, всерьез.

— Подумайте: медведь-щеголь, медведь-фат, медведь-мудрец, медведь-авантюрист, одним словом, медведь-гризли.

Я запомнил эту его необычайную характеристику медведя, долго ждал появления повести, но не дождался.

Очень хорошо рассказывал Олеша сказку о двух крысах, о «крысе с зелеными глазами» — злой и о «добрейшей крысе с розовыми глазами».

Чем-то мне напомнила эта сказка известный гриновский рассказ «Крысолов». Я даже сказал об этом Юрию Карловичу, но он меня заверил, что этого рассказа он не читал или, во всяком случае, не помнил. Может быть, и так.

«Крыса с зелеными глазами» — мерзавка и злодейка, она убивает маленького белого мышонка, такого нежного и ласкового. Ее ненавидят все мыши, а крысы боятся.

Крысиное и мышиное царство описаны очень красочно. Там есть знатные и богатые крысы, есть крысы бедные, эксплуатируемые. Мыши подчинены крысам, но есть мыши-аристократы, мыши-ловкачи, мыши-фавориты. В мышином и крысином государствах царят вражда и нена-

висть. Дерутся из-за каждого попавшего сюда кусочка хлеба, ломтика колбасы, куска кожи.

А крыса с розовыми глазами... она всеобщая любимица, утешительница, благотворительница. Как ее уважают маленькие мышата! Только узнают, что она скоро выйдет, и уже так кланяются, что болят их маленькие головки.

Непонятно, отчего проистекает ее популярность. Может быть, розовые глаза производят такое впечатление? Ведь они почти прозрачные, и в них трудно что-либо увидеть.

А на самом деле всеми любимая крыса — мещанка и стяжательница. У нее собраны изрядные запасы, все по мелочам, по зернышку. Когда настал голод в крысином и мышином царствах, она не пожелала поделиться своими сокровищами и розовыми глазами безучастно глядела на гибель маленьких мышат. А отвратительная крыса с зелеными глазами все же кормила некоторых измученных товарок.

Заключительная часть сказки посвящена размышлениям маленького мышонка-философа об истине и справедливости. Он любит прислушиваться к разговору людей, даже часто вылезает из норы, чтобы лучше их услышать. И ему кажется, что люди только выдумали эти странные слова и понятия, чтобы обманывать бедных мышей.

Сказка о крысах и о мышонке-философе, по-видимому, не была записана автором и осталась неизвестной.

НАША ШЕХЕРАЗАДА

Замечательным рассказчиком был Борис Андреевич Лавренев. Можно только пожалеть, что он не любил выступать с эстрады, сравнительно редко читал свои произведения.

Я слышал его не раз в Ленинграде, в одном доме на Петроградской стороне, где собирались актеры и музыканты. Борис Андреевич рассказывал очень интересно, занимательно, ярко. Порой это были рассказы с продолжением: Лавренев делал большой перерыв, и слушатели ждали

продолжения до следующей встречи, примерно через неделю. Рассказ помнили и продолжения ждали с нетерпением. Писатели шутя даже называли Лавренева «нашей Шехеразадой». И он не возражал, хотя вообще был человеком обидчивым. Кажется, ему нравилось это прозвище.

...Случилось так, что мы ушли из гостей слишком поздно, мосты уже развели. Это было время давнее, начало тридцатых годов. Тогда еще существовал архаический транспорт — извозчики, и у одного из мостов находилась открытая всю ночь извозчичья чайная. Мы заняли стол где-то в углу, от скуки Лавренев стал рассказывать. Говорил он довольно громко. И вскоре прекратился кабацкий шум. Заслушались и наши соседи извозчики.

Помню, мы беседовали с ним о детективной литературе. Как известно, в творчестве Лавренева много приключений, романтики. Но детективную литературу он не любил. Он считал, что в этой литературе все не настоящее. Обычно авторы завязывают узлы потуже, а потом и сами не в силах их распутать. Я часто вспоминаю это лавреневское определение. Да, завязка во многих детективах сильнее, эффектнее, интереснее, чем развязка.

В том же доме он рассказывал однажды очень острую, захватывающую историю и прервал рассказ на половине, чтобы продолжить на следующей встрече. Может быть, развязка не была еще до конца им продумана.

Прошло несколько десятилетий, и я не помню всех деталей. Но вот что осталось в памяти из этого повествования. Сам Лавренев был одним из его участников.

Начинается история с того, что в петергофской гостинице попала в номер к Лавреневу красивая девушка, вся в слезах. Выяснилось, что у нее здесь было любовное свидание, которое закончилось ссорой. Скоро появляется ее возлюбленный, молодой моряк. Лавренев пытается их помирить.

И тут в рассказ врывается тема, которая в то время становилась популярной, тема вражеского шпионажа. Молодой моряк работает в каком-то «секретном отделе». Вра-

жеские агенты пытались использовать его возлюбленную, чтобы завладеть чертежами. Они стремятся убедить девушку, что в ящиках стола ее возлюбленного находятся письма другой женщины. Молодой человек показывает возлюбленной чертеж, и вражеский агент успевает его сфотографировать.

На этом прерывалась первая «ночь Шехеразады». Через неделю выяснилось, что молодой человек сумел обмануть вражескую разведку. Он понял, что его пытаются шантажировать, подсунул старые чертежи, которые приняты были вражескими шпионами всерьез.

История почти стандартная, но ловко «закрученная», и Лавренев увлекательно ее рассказывал. Очень оживляло повествование участие самого автора как одного из героев. Мне этот рассказ казался более интересным, чем многие напечатанные в то время детективные произведения. Сам же Борис Андреевич относился к нему иронически.

— Неужели и вам понравилось? — спросил он меня.— Ведь это выдумка, почти пародия.

Вспоминаю и другой, более интересный устный рассказ Бориса Андреевича. Повествование там ведется от имени молодого юриста, только что окончившего университет и назначенного следователем.

Получилось так, что первое его следственное дело связано с хищением в том учреждении, где он недавно работал (учился он заочно). Конечно, он принимается за дело с энергией, стремится применить все приобретенные в университете познания. И, о ужас... все улики — против него. Чем больше он пытается разобраться в деле, привлекает новые документы, допрашивает свидетелей, тем больше улик против него самого. Он почти сходит с ума. И только случайность помогает ему установить истину. Его запутали настоящие преступники, которые знали, что он будет вести следствие.

Получилось так, что в судьбе рассказа роковую роль сыграл автор этих строк. Я тогда любил старые приключенческие рассказы и повести. Попалась в мои руки по-

весть одного из основоположников детективного жанра Уилки Коллинза «Разорванные письма». Там в замок, где произошло убийство, приезжает частный сыщик, дальний родственник хозяина. Он начинает расследовать дело, и многие улики оборачиваются против него самого. Потом дело разъясняется.

Дернул меня черт рассказать об этом Лавреневу. Он, конечно, об этой повести не имел понятия (перевод ее вышел в восьмидесятых годах), английский Лавренев знал, но не настолько, чтобы легко читать романы.

Он даже не пожелал познакомиться с этой повестью. Его обидело неожиданное сходство сюжетов. Все мои уверения, что образы, персонажи, даже развитие сюжета в целом совсем различны, ни к чему не привели.

— Недоставало, чтобы меня обвиняли в плагиате!

Он был очень самолюбив, и разубедить его не было никакой возможности.

«МЕДВЕЖЬИ ДЕНЬГИ»

Евгений Шварц еще в молодые годы свои был замечательным рассказчиком. Это знали многие его друзья. Истории его и были рассчитаны на друзей. Мне запомнились его рассказы о так называемых «медвежьих деньгах».

«Медвежьи деньги» — это полубыль, полулегенда. Речь шла о фальшивых бумажных деньгах, их якобы очень умело делали в окрестностях города Нахичевани-на-Дону. Об этом есть упоминание в известном романе Данилевского «Беглые в Новороссии». Еще в начале нынешнего века некоторые нахичеванские богачи считали себя потомками тех, что делали фальшивые деньги, и даже гордились этим.

Почему ж эти деньги назывались «медвежьими»? Их, оказывается, изготовляли в палатках на берегу Дона, а стерегли эти палатки дрессированные медведи.

Евгений Львович рассказывал так, как будто бы сам был свидетелем или даже участником этого дела. Он замечательно рисовал пейзаж: туман над Доном, огни, палатки

и ревущие медведи. Все это было поэтично, вроде цыганского табора, и вместе с тем изготовление фальшивых денег было деловым, почти капиталистическим предприятием. Во главе дела стоял некий Ибрагим (его звали Еврагином), крупный знаток своего дела, который занимался когда-то изготовлением фальшивых денег в Турции и Греции. Теперь он привез из далекой Генуи какую-то замечательную машину, которая позволяет так печатать ассигнации, что их не отличишь от настоящих.

В рассказе Шварца таганрогской полиции предписано ликвидировать это дело. Но полицейские боятся. Во-первых, боятся медведей. А главное, боятся, что не отличат фальшивых ассигнаций от настоящих, совсем запутаются. Как тогда отчитываться перед начальством? Прозаическое повествование перемежалось стихами.

Вот те из них, которые я запомнил:

В Нахичевани жил один,
Звали его Еврагин.

. . . .

Еврагин по городу идет,
Деньги он бросает.
Откуда деньги он берет,
Один медведка знает.

. . . .

Донесли полиции:
Деньги делают они
Лучше, чем в столиции...

Интересно отметить, что этой историей заинтересовались два известных режиссера. О ней у меня спрашивал Мейерхольд, а Сергей Михайлович Эйзенштейн даже предложил написать сценарий на эту тему. Я тогда очень удивился. Такой сценарий, исторический и приключенческий, никак не соответствовал тематике и стилю работ Эйзенштейна.

— Не для меня, так для других! — сказал он мне.— Тема интересная!

Евгений Шварц жил уже тогда в Ленинграде, но известен как писатель еще не был. Я написал ему о своей

беседе с Эйзенштейном, но он не заинтересовался этим делом, и так оно и заглохло...

Теперь о «медвежьих деньгах» давно забыли.

ПОЧТИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Так я окрестил эти сравнительно поздние рассказы Евгения Львовича. Ему понравилось это мое шутливое определение. Эти рассказы я слышал в Ленинграде, частью в Комарове, в последние годы жизни писателя.

Самый интересный из них — рассказ о майкопском продавце Николае Ивановиче. Николая Ивановича хорошо знали в Майкопе, на родине Шварца. Этот простой и не слишком образованный человек неожиданно увлекся толстовством. Недалеко от Майкопа находилась толстовская колония. Туда Николай Иванович ездил пахать землю. Он и внешне изменился, стал носить холщовую рубаху, бороду, лапти. По-видимому, увлечение было не слишком серьезным, он несколько рисовался и стремился приобрести популярность. Во всяком случае, его называли теперь не просто Николай Иванович, а «толстовец» Николай Иванович. У него обнаружились какие-то особые способности мирить людей, вступивших в драку, а возникали драки обычно около «монопольки» (так назывались тогда небольшие магазинчики, торговавшие водкой). Здесь обычно дежурил наш Николай Иванович. И чуть начиналась драка, он тут как тут, мирит людей. Ему, видно, нравилась эта роль, к тому же он не просто мирил, он еще и пропагандировал толстовские идеи о всеобщем примирении, о всеобщей любви.

И вот радость, счастье для Николая Ивановича — возникла возможность поездки в Ясную Поляну к самому великому Льву. Но эта поездка не принесла Николаю Ивановичу настоящей радости. Более того, она излечила его от «толстовства».

Родители Евгения Львовича, по его словам, хорошо знали Николая Ивановича. Местных интеллигентов пора-

жало, что Николай Иванович не только внешне подражал Толстому, он научился строить свою речь по Толстому.

Что же произошло с ним в Ясной Поляне? Об этом сообщил отцу Шварца известный толстовец П. Сергиенко. Лев Николаевич сначала принял своего единомышленника из далекого Майкопа очень ласково. И спросил, как он доехал. Николай Иванович сообщил — доехал приятно, если бы не досаждал ему человек, который «неизвестно зачем надел форму и почему-то называет себя кондуктором».

Уже эти слова заставили Льва Николаевича насторожиться, как будто он почувствовал, что его собеседник почти пародирует его речь и манеру письма. Сергиенко рассказал, что Лев Николаевич был очень расстроен. Он прервал беседу, ссылаясь на нездоровье, и вышел из комнаты. Николай Иванович заметил неудовольствие Толстого, но чем оно вызвано, понять не мог. По-видимому, со временем причина стала ему известна, во всяком случае возвратившись в Майкоп, он перестал быть толстовцем, снова превратился в обыкновенного приказчика. Когда с ним пытались говорить о Толстом, он робко отмалчивался.

К сожалению, я не могу передать беседу Николая Ивановича с великим писателем так, как она звучала в устах Шварца. Чувствовалось, что, чем больше Николай Иванович играет под Толстого, тем больше это злит Льва Николаевича. Он старается сдержать свой гнев, но не может.

Другой рассказ ведется от имени старика Афанасия, с которым Шварц был знаком в начале двадцатых годов, когда он только переехал в Ленинград. Этот Афанасий некогда служил курьером в редакции народнического журнала «Русское богатство». Он дает характеристику основным сотрудникам журнала. Их было несколько, и не всех я запомнил.

Очень часто Афанасий бывал в квартире Николая Константиновича Михайловского. Михайловский, как известно, был одним из редакторов журнала. Афанасия посылали к нему с рукописями и корректурами. Сам знаменитый публицист и критик не удостаивал его вниманием, только

горничная выносила на подносе всегда одно и то же (что особенно возмущало Афанасия) — рюмку водки, бутерброд и пятнадцать копеек.

— Хотя бы придумал что-нибудь новое! — говорил Афанасий. Он ненавидел Михайловского. Зато обожал Мамина-Сибиряка.

— Золотой души человек Дмитрий Наркисович,— говорил Афанасий,— других таких не найти.

И ездил к нему Афанасий с удовольствием, хотя добираться приходилось не близко, жил тогда писатель в Царском Селе. Мамин-Сибиряк долго беседовал с Афанасием, помогал ему чем мог. Но бывало и так:

— Милый, не могу ничего, жена заняла сегодня на обед рубль!

Афанасий ничего и не требовал, сама беседа с Дмитрием Наркисовичем доставляла ему огромное удовольствие.

Существовал ли Афанасий в действительности, судить не берусь, думаю, что существовал. Иногда у таких людей можно узнать немало интересного. Например, в Доме творчества в Одессе в 1938 году старая работница очень занимательно рассказывала о Бунине и Куприне. Она служила когда-то на даче Федорова, ставшей впоследствии Домом творчества, где часто гостили эти писатели.

Третий рассказ Евгения Львовича Шварца из того же цикла нашел неожиданное подтверждение.

Речь в нем шла о том, что происходило в доме по ул. Марата, 14, в доме, где когда-то жил Радищев. Только не в его времена, а много позже, в девяностых годах прошлого века.

Во дворе этого дома тогда были номера для приезжающих. Но не простые номера: здесь жили «нелегальные», были явки, наконец здесь устраивались закрытые балы и вечера, сбор с которых шел на помощь «политическим». Всем этим занимались народнические организации, и они, конечно, знали, что этот дом связан с именем Радищева.

В рассказе Шварца мы вновь встречаемся с Николаем Константиновичем Михайловским.

Большой благотворительный бал (конечно, с проверенными приглашенными). В номерах для этого открывались все двери, получалась большая анфилада для танцев. Руководил танцами знаменитый народнический публицист, и руководил с настроением.

Представьте себе: старые танцы — вальс, краковяк, падеспань, и Михайловский с его большой седой бородой, руководящий этими танцами (тут нужен особый ритуал, выкрики на французском языке: «рекуле», «авансе»). Бал этот прошел с большим успехом, были выручены приличные деньги, конечно на «особые цели».

Вот этот рассказ Шварца и нашел неожиданное подтверждение. Правда, историки города как будто бы об этих номерах не упоминают. Но художник Г. Верейский (отец) в свои студенческие годы слышал об этих балах и даже о том, что на одном из них руководил танцами сам Михайловский. Он в дни молодости даже зарисовал здание, где находились номера, но куда девался этот рисунок, не помнил.

По рассказу Шварца, однажды привели в эти номера молодого Горького, впервые приехавшего в Петербург. Это было в середине девяностых годов. Горький еще только становился популярным, и его марксистские взгляды еще не определились. Были у него друзья и среди народников.

Состоялась интересная беседа. Горький доказывал своим седым и степенным собеседникам, что человек все может.

— А на луну вы можете полететь? — спросил кто-то.

— Могу,— сказал Горький.

— Почему же не летите?

— Может, когда-нибудь и полечу, а сейчас не хочу. У меня и на земле дел много. . .

ЧИТАЛИ ПОЭТЫ...

1

Я их слышал давно, очень давно. Более сорока лет назад, а то и более полувека, а многих и еще раньше, во времена совсем старинные, до революции. Конечно, не все запомнилось, не все сохранилось в памяти. И все же я решил рассказать о своих впечатлениях, о том, как читали свои стихи поэты, которых я слышал в своей жизни.

Автор этих строк с детских лет был упорным посетителем всякого рода вечеров и поэтических собраний. Он был «болельщиком» (тогда такого слова не было) звучащей поэзии, особенно в авторском исполнении. Он и сам считал себя поэтом (это была роковая ошибка) и осмеливался выступать на поэтических вечерах с чтением своих стихов. Он слушал сотни (а может быть, даже тысячи) поэтических выступлений в разных городах (в Москве, Ленинграде, Харькове, Ростове). Он слушал поэтов больших и средних, малых и микроскопических,— особенно много, конечно, последних. Но при тогдашнем увлечении поэзией это было неизбежно.

К сожалению, нельзя объять необъятное. Не всех замечательных поэтов, творивших в дни моего детства, юности и более зрелого возраста мне удалось слышать. Я никогда не слышал, как читали свои стихи Блок, Багрицкий, Цветаева, Тихонов и Ахматова. Но что же поделаешь, этого не исправишь...

И сейчас чтение стихов их авторами достаточно популярно. Выступления поэтов собирают большую восторженную аудиторию, в основном состоящую из молодежи. И дело, конечно, не только в праздном любопытстве, желании увидеть любимого поэта и услышать, как он читает стихи. Настоящие любители поэзии прекрасно понимают, что авторское чтение способно раскрыть те особенности поэтических произведений, которые оставались незаметными, непонятными при чтении стихов в книгах и журналах.

У нас много говорилось о так называемом лирическом герое. Мне думается, что этот лирический герой становится особенно понятным и близким при авторском чтении стихов.

«В каждом стихотворении,— писал Маяковский,— имеются сотни ритмических, размеренных и других действующих особенностей, никем, кроме самого автора, и ничем, кроме его голоса, не передаваемых».

Маяковский был первым большим поэтом, уделявшим особое внимание авторскому чтению. Были даже особые издания его стихов «для голоса». Для революционной эпохи характерно непосредственное общение с аудиторией, стихи не только читаются, они слушаются...

«Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина,— говорил Маяковский,— привалило теперь всему миру».

Мы сравнительно мало знаем, как читались стихи в прошлом, в частности русскими поэтами XIX века. Свидетельства современников немногочисленны и противоречивы. Надо думать, что поэты не выступали тогда перед массовой аудиторией. Только в конце XIX века они стали участвовать в благотворительных концертах, и то довольно редко. Получалось так, что мы даже лучше знаем, как читали свои произведения выдающиеся прозаики этой эпохи, чем поэты, их современники.

Вопрос о чтении стихов авторами не только не изучался, но даже и не поставлен в литературоведении. Это не случайно. Конечно, материалов пока недостаточно, но почему-то не чувствуется внимания исследователей к этой теме.

Не интересовались авторским чтением стихов и исследователи смежных искусств, например историки эстрады.

По-видимому, с начала нынешнего века авторское чтение стихов (конечно, далеко не всех поэтов) стало сохраняться в граммофонной, а потом в магнитофонной записях. Но запись эта до сих пор не совсем совершенна. Я не раз слышал в механической записи поэтов, которых слышал «в

натуре», и всегда бывал разочарован, а часто даже огорчен. Я думаю, что и при полном усовершенствовании магнитофонной записи верного впечатления о том, как читает тот или другой поэт, не получится. Тут важен и внешний облик поэта, и его интонации, а иногда и жесты и мимика. Вот почему чтение стихов современными поэтами должно быть зафиксировано в звуковом кино. Хотя, мне кажется, и здесь не получится полного впечатления, но все же «поэтическая кинохроника» поможет исследователям и много даст любителям стихотворного искусства.

Всякие впечатления поневоле субъективны. Это особенно относится к исполнительскому искусству, спектаклям, концертам, вечерам поэзии. По-разному воспринимают люди произведения искусства, и, пожалуй, здесь бывает трудно установить объективную истину.

Может статься так, что некоторые любители поэзии обвинят автора этих строк в том, что тот или иной поэт читал совсем не так, как здесь написано. Мне приходилось слушать одних и тех же поэтов в разное время. Порой по-разному они читали свои стихи. Даже актеры в тщательно поставленном спектакле играют по-разному, сегодня не так, как вчера, а через год после создания спектакля (это почти обязательно) совсем не так, как на премьере.

Что же говорить о чтении поэтов? Их обычно никто не режиссирует и редко кто серьезно готовится к этим выступлениям.

Очень много зависит от аудитории, от взаимоотношений между поэтом и слушателями. Сама аудитория часто вдохновляет. Но бывает так, что и расхолаживает.

«Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой обращаешься»,— писал Маяковский. Да, великий поэт образцово знал аудиторию, сразу понимал и чувствовал ее настроение, стремления, вкусы. Другие поэты это чувствуют не всегда. Отсюда часто невольное расхождение между поэтом и слушателем, не всегда правильное понимание и толкование стихов.

2

Как же читали поэты свои стихи?

Изысканные вечера модного тогда поэта носили вычурное название «Поэзия как волшебство».

В те далекие времена он был среди интеллигентской публики российской провинции самым популярным стихотворцем-современником. Блока и Брюсова знали сравнительно мало. Звезда Северянина еще не взошла.

Выглядел поэт не слишком величественно. Маленький, почти плюгавенький, с рыжеватой бородкой. Одет был в серый костюм, как будто бы сшитый не на его рост.

Право, не таким надеялись видеть Константина Бальмонта тогдашние многочисленные его поклонники.

Читал он нараспев, странно растягивая гласные. Иногда одна строка была отделена от другой длительной паузой.

Он картавил и при этом старался обыгрывать этот природный недостаток речи. Как будто любовался им. Читал он монотонно. Создавалось впечатление, что он старается убаюкать аудиторию. Слушатель начинал скучать. Поэт чувствовал это и тогда начинал жонглировать звуками; было такое впечатление, что он подбрасывал гласные *о, у, ю, я.* Однако иногда он читал просто и строго. Так он прочел свое стихотворение о кошке («Мой зверь — не лев, излюбленный толпою»), оно дошло до публики, понравилось.

Во время небольшого перерыва служащие волокут два зеркала и ставят их по обе стороны кафедры. Поэт оказывается между зеркалами. Зачем это нужно? Он читает стихотворение, которое начинается словами «Зеркало в зеркале».

Видно, сам поэт не слишком верил в силу своего поэтического «волшебства», если прибегал к таким бутафорским трюкам.

В те же еще юные гимназические годы я слышал другого популярного тогда поэта. На эстраде он мне казался

огромным, почти безжизненным и почему-то напоминал тех скифских каменных баб, которые стояли у входа в музей нашего южного города. И через много лет, проходя мимо этого музея, я вспоминал Федора Сологуба.

Читал он проникновенно и строго, без словесной игры, без ненужного украшательства. Он мастерски владел голосом, хорошо передавал стиль стиха, его чтение захватывало и по-своему убеждало. Я раньше знал его стихи, но в авторском чтении они приобрели новое трагическое звучание. Его стихотворение «Чертовы качели» было довольно популярным, печаталось в «Чтецах-декламаторах», исполнялось актерами с эстрады. Но только в исполнении автора я почувствовал его подтекст, понял, что здесь идет речь о трагической безысходности человеческой судьбы. Читая стихи, Сологуб, казалось, звал к отречению от жизни, от мира, говорил о неизбежной гибели. Такое впечатление производило его мастерское чтение стихов на аудиторию, особенно на зеленую молодежь.

Я помню, как встретил своего товарища, мальчика живого, веселого.

— Не стоит жить! — сказал он.

Я очень удивился, но скоро понял: я видел его на выступлении поэта. К счастью, это вредное обаяние стихов было недолгим. Все скоро забылось, вошло в норму.

Через несколько лет, уже будучи студентом первого курса, я попал на собрание, само название которого звучало архаически. Это было «Московское религиозно-философское общество». Я пришел сюда, ибо знал, что будет выступать известный поэт.

— Мы хотели устроить прения, но разве можно возражать перезвону колоколов!

Я запомнил эти слова председателя собрания, известного в свое время философа-идеалиста Евгения Трубецкого.

«Перезвон колоколов» — так он назвал (и, по-моему, довольно метко) чтение стихов Вячеславом Ивановым. Поэт только что прочел свой «венок сонетов». Да, было что-то

церковное, умильное даже во внешнем облике поэта, в его строгой монашеской красоте. Голос звучал торжественно и вдохновенно, были здесь переливы звуков, может быть напоминающие церковный благовест. Стихи его как будто уводили в особый, созданный поэтом мир звуков.

Я много раз слышал чтение стихов Валерием Брюсовым — и в ранние студенческие годы, и позже, в 1923—1924 годах. Бывал я и на его занятиях в Литературном институте.

Внешне поэт казался суровым, строгим, был у него какой-то особенно пронзительный взгляд, руки обычно скрещены на груди (невольно вспоминался известный портрет Врубеля). Но как загорались его глаза, когда он слушал сколько-нибудь даровитые стихи молодого поэта! Тут он становился радостным, почти молодым.

Брюсов знал все тонкости стихотворной формы и умел донести их до слушателя. Он читал очень выразительно и в то же время эмоционально. В его чтении достигалась идеальная гармония содержания и формы, что тогда было малодоступно другим поэтам. Меня, тогда еще юношу, его чтение не только зачаровывало, здесь было не только внешнее обаяние рифмованных строк. Его стихи в авторском исполнении как бы расширяли представление о мире, вызывали невольное стремление к знаниям.

Я помню, как он читал «Орфея и Эвридику». До сих пор заключительные строки у меня на слуху: «Эвридика, Эвридика, стонут отзвуки теней». Я в то время не знал античной мифологии, не интересовался ею. Она мне казалась устарелой. И тут я почувствовал, что эта древняя любовь Орфея чем-то мне родственна, близка. Я стал читать античных авторов...

Мне кажется, что его чтение имело своеобразное познавательное значение. Я не был тогда в Питере, знал Северную Пальмиру больше по «Медному всаднику», а вот когда услышал в исполнении Брюсова стихотворение «Три кумира» — передо мной как будто открылись черты великого

города. И не случайно я вспомнил эти его стихи, когда впервые приехал в Петроград.

Всем известно, что Брюсов закончил «Египетские ночи» Пушкина. По-разному оценивалась эта работа. Но мало кто знает, что Брюсов, подобно герою этого произведения, был поэтом-импровизатором. Своим ученикам, молодым поэтам, он тоже давал импровизационные задания. Правда, как импровизатор Брюсов выступал довольно редко. Я был свидетелем такого его выступления в одном литературном салоне.

Было предложено много тем. Он выбрал популярную в первые годы революции — любовь коммуниста к буржуазной женщине. Насколько я знаю, эта его импровизация не была записана и не сохранилась. Не помню сейчас всех деталей развития этой поэмы. Знаю, что герой ее, советский военный, случайно увидел какую-то красавицу, влюбился в нее. Эта тема была передана своеобразно, по-брюсовски. Проводились неожиданные для слушателей параллели с античными легендами, ощущался трагизм в развитии событий. Эту импровизированную поэму он читал с большим мастерством.

В те же годы я слушал его «Инвективу» — публицистическое обращение к русским интеллигентам. Читал он ее очень сильно, в этом исполнении был революционный пафос, и мне казалось, что он сумел передать настроения и мысли молодой интеллигенции, принявшей революцию. Он как бы обличал тех своих былых друзей, которые убоялись революционной бури, спрятались, устали.

В 1916 году состоялся поэтический вечер в Камерном театре. Читали свои стихи польские поэты. Выступали Брюсов и Вячеслав Иванов.

Затем вышел встреченный аплодисментами, явно смущенный своей неожиданной популярностью Андрей Белый. Он тогда только приехал из-за границы, кажется, это было его первое публичное выступление.

Потом я слышал его не раз. Он много читал и прозу и стихи. Что и говорить, произведения этого писателя мо-

гут показаться искусственными, манерными. Язык его глубоко индивидуален и иногда почти условен. Не каждую фразу поймешь. Надо к нему привыкнуть, усвоить его речь. Вместе с тем он всегда казался мне очень искренним, вдохновенным. Он по-своему глубоко воспринял события революционных лет, старался их понять и осмыслить. Все это необходимо учитывать, когда говоришь об Андрее Белом как исполнителе своих стихов. Он читал с большим лирическим подъемом — и когда выступал с эстрады, и когда читал стихи в дружеском кругу. Казалось, какой-то вихрь кружит слушателя, не дает ему опомниться.

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня.
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня.

Была какая-то огневая стихия в его исполнении этих строф. Это был порыв буйных чувств, порожденный большой мыслью, поэтическим и философским восприятием мира. В исполнении его философских стихов чувствовалась тоска по уходящему миру старых чувств и жизненных представлений. Была здесь и тонкая лукавая ирония, насмешка над прошлым, над тем, что было когда-то пережито, прочувствовано самим поэтом.

Я слушал в его исполнении отрывки из «Первого свидания». Кажется, он читал эту поэму очень редко. Многое здесь трудно для понимания, многое слишком индивидуально, есть непередаваемые оттенки тончайших настроений. В исполнении самого поэта образы этой поэмы оказались более ощутимыми. Особенно сильное впечатление производило поэтическое описание московского концерта. Когда он читал, слушатель словно присутствовал на этом старом концерте, видел зрителей и музыкантов. Замечательно передана вся обстановка, и, главное, это описание концерта звучало музыкально, казалось, каждая строка стихов пронизана музыкой.

В 1918 году я довольно долго жил в Коктебеле и не раз

там слышал чтение стихов Максимилианом Волошиным. Производил впечатление и внешний облик поэта — его белый хитон, суковатая палка, курчавая борода. Нам он казался похожим то на античных рапсодов, то на русских сказителей.

Было такое ощущение, что он неотделим от пейзажа, от замечательной, своеобразной природы его родной Киммерии. Это и придавало особую прелесть его чтению стихов. Был у него какой-то эпический пафос, пожалуй, непривычный для поэтов того времени. И здесь, на фоне родного пейзажа, его стихи приобретали силу, слушатель не замечал их условности, искусственности.

Много раз в разные годы я слышал Сергея Городецкого, но запомнил только ранние выступления поэта. Когда он читал стихи из первых своих книг, он умел проникновенно и сильно передать и картины русской природы, и глубокую поэтичность старых русских сказаний. Читал он очень просто и четко, но было в этом чтении тонкое понимание всех оттенков поэтического слова, умение эти оттенки передать.

В последующие годы он стал читать как будто внешне более совершенно, но как-то одноцветно.

Ранние русские футуристы, больше известные не по своим изданиям, а по выступлениям на различных эстрадных площадках, оригинальной манеры чтения стихов не создали.

Среди них выделялся уже тогда молодой Маяковский, но его приемы чтения стихов начали только вырабатываться, только еще формировались. О нем речь будет ниже.

У Велимира Хлебникова был слабый, очень тихий голос, с эстрады он выступать не мог, да и не стремился — ему казалось, будто кто-то старается проникнуть в его сокровенное, тайное, проявляет излишнюю любознательность. Обычно Хлебников отказывался читать стихи даже в тесном дружеском кругу. Иногда, поддавшись настоятельным просьбам товарищей, он пробовал выступать с

эстрады, но ничего не получалось. Его плохо слышали и только удивлялись.

Давид Бурлюк, в те годы выступавший как поэт, читал по-актерски, скучновато, стандартно, не очень выразительно. Порой на футуристических вечерах поражал слушателей А. Крученых. В его эстрадных выступлениях пресловутая «заумь» превращалась в эксцентриаду.

Очень эффектно, с большим подъемом читал свои стихи Василий Каменский. В его чтении ощущался ритм стиха, его метрические особенности. Правда, читал он как-то слишком картинно. Уже после революции мне пришлось слышать одно его особенно интересное исполнение. Дело было в харьковском цирке, где ставилась пантомима «Степан Разин» по поэме Каменского: сам автор играл основного героя, выезжал на арену верхом в соответствующем одеянии и читал здесь свои стихи.

— Я, первый из поэтов мира,— читал Каменский,— на арене цирка воздвигнул памятник.

Что сказать, памятник оказался не слишком фундаментальным, и через несколько лет о нем забыли.

Сейчас уже забыта поэтическая карьера Игоря Северянина. А ведь его выступления (так называемые «поэзовечера») были в свое время исключительно популярными, и, думаю, это не было случайным.

Да, этот не очень значительный поэт был несомненно талантливым мастером эстрады. Стихи он почти пел, читал обычно речитативом, иногда переходил к чистому «вокалу». Он умел зачаровать тогдашнего слушателя, передать ему свои настроения, ощущения. Темы его стихов были ограничены, интимны — любовь, ревность, тоска, в передаче чувств было что-то обывательское, но он хорошо знал настроение своей аудитории, ее стремление к «красивой жизни».

Его выступления были характерны для эстрады последних предреволюционных лет, он был близок по тематике и манере исполнения к таким мастерам эстрадного жанра, как Вертинский и теперь совсем позабытая Иза Кремер.

На слушателя производил впечатление и его внешний облик, несколько странное вытянутое лицо, строгий сюртук, обязательная орхидея в петлице.

И в те далекие годы я иронически относился к его «поэзам». Но когда слушал самого поэта, я забывал об этом, сливался с его аудиторией, на глазах у меня невольно появлялись слезы, хотя я стыдился их.

Когда я пробовал перечитывать его стихи, то явственно чувствовал, что написаны они для эстрады, для выступления, для голоса.

Следует отметить, что его «поэзо-вечера» посещались теми слоями городского мещанства, которые в массе своей не интересовались поэтическим искусством. Таким образом, он в свое время сумел как бы расширить аудиторию, привлечь внимание к стихам.

Я думаю, что он был одним из первых поэтов, которых не меньше слушали, чем читали.

3

«Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию»,— писал Маяковский.

Да, поэзия первых лет революции была в основном «слышимой». Конечно, изменилось содержание стихов. Куда-то на второй план отошла интимная лирика, на смену ей пришел революционный пафос. Стихи в огромном большинстве своем говорили не о личных переживаниях поэта, а о всенародной борьбе и победе.

Камерная манера передачи стихов тут уж никак не подходила. Стихи приблизились к политической речи, к речи ораторской. На тогдашних митингах и собраниях то и дело многие ораторы переходили от прозы к стихам — правда, в отличие от известного мольеровского героя, они отлично понимали, где надлежит говорить стихами, где прозой.

Стихи теперь должны были быть понятными широким массам, вдохновлять их на подвиг, на борьбу. Вот какие

задачи стояли перед поэтом, читающим свои стихи. Где уж было думать о тонкостях стихотворного мастерства...

В те годы на митингах, на всякого рода собраниях я слышал тысячи стихотворных строк. Обычно они исполнялись авторами, которые не были профессионалами и только пытались овладеть поэтическим мастерством. Да, многие из этих стихов не были поэтически совершенны, часто это была политическая речь, только переданная в зарифмованных строках. Авторское чтение стихов было тогда органической частью политического митинга. И я бы условно назвал эту манеру чтения стихов «митинговой».

Она была характерна и для старшего поколения пролетарских поэтов. Мне пришлось слышать Александровского, Поморского, Самобытника. Их чтение было пафосным, они старались поэтизировать политическую речь, но не всегда это им удавалось. Иногда в манере исполнения сказывались недостатки самих стихов, условность и искусственность поэтических образов.

Я помню выступления пролетарских поэтов на одном из московских заводов, они восторженно принимались аудиторией. Но стихи читались несколько однообразно, и было такое впечатление, что слушатели начинают уставать. Большим успехом на этом вечере пользовался Михаил Герасимов. Он читал свою поэму «Мона-Лиза». Поэма во многом подражательная, но в ней были элементы подлинной лирики, и это подкупало аудиторию.

Очень своеобразно читал свои стихи Василий Казин. Голос у него был слабый, жест не очень выразительный, выглядел он на эстраде не эффектно. Я и раньше знал его довольно популярное стихотворение, которое начиналось словами «Кукует в кузнице кукушка». Честно говоря, я не совсем понимал, как угодила эта кукушка в кузницу. А вот когда читал сам поэт, я очень зримо видел всю обстановку кузницы и понял, что звуки молота чем-то напоминают кукование птицы.

К сожалению, только один раз, да и то на большом митинге, к тому же на открытом воздухе, мне пришлось

слышать Демьяна Бедного. И все же я хорошо запомнил особенности его авторского чтения. Читал он предельно просто и в то же время мастерски. Первоначально казалось, что это обычная разговорная речь. Но порой он поднимался до высокого пафоса. Тогда стихи его звучали очень сильно, четко, ковано, отчетливо слышалась в них большая политическая мысль. Он читал для массовой аудитории, умел захватить, увлечь ее. Речь его была чужда всяких словесных украшательств, в ней чувствовался опытный оратор и пропагандист, умевший влиять на аудиторию, знавший силу своего слова. Я думаю, что исполнение стихов было проработано им во всех деталях. Поэт отлично знал все приемы воздействия на слушателя.

Прочел он тогда и несколько басен. Здесь манера исполнения была иной. Это была интимная ироническая речь. Он будто рассказывал слушателю какую-то историю, дружески беседовал с ним. Мне кажется, что в исполнении им басен особенно ярко чувствовалось замечательное знание поэтом русского народного языка, всех его интонаций, всех тонкостей речи.

Новое поколение пролетарских поэтов как бы возрождало личную лирическую тему.

Когда я слышал исполнение стихов молодыми еще тогда поэтами Жаровым и Безыменским, мне казалось, они стараются подчеркнуть, что личные переживания поэтов типичны для комсомольской молодежи, для молодых рабочих, для учащихся.

Ничего восторженного, нарочито пафосного не было в их чтении, их исполнение приближалось к романсу, к народной песне. Иногда это даже подчеркивалось музыкальным сопровождением (гитара у Безыменского, гармонь у Жарова). Как будто поэт читает свои стихи на дружеской вечеринке — нет ничего специфически эстрадного, нарочито внешне выразительного. Все просто, почти обыденно.

Совсем по-иному читал свои стихи Иосиф Уткин. Голос его был богат, многообразен, хорошо поставлен, видимо, от природы. На эстраде он был очень эмоционален, слегка

восторжен, ярко передавал свои мысли и чувства аудитории. Это были вдохновенные, глубоко поэтические выступления. Они пользовались большим успехом и даже в какой-то мере определили популярность его стихов. Во время выступления он старался передать аудитории свое понимание мира, свои философские раздумья. В исполнении автора стихи порой становились куда глубже, проникновеннее, чем когда мы их читали в книге.

Я, например, впервые по-настоящему понял и оценил его большие поэмы «Повесть о рыжем Мотеле» и «Мое детство», когда услышал их в исполнении автора. Жизненные события в его образной передаче приобретали глубокую философскую направленность. Он как бы заставлял слушателя напряженно мыслить. Глубокая мысль, воплощенная в поэтической форме и лирически окрашенная, вела слушателя за собой.

Михаил Светлов обычно очень смущался, когда выступал с чтением своих стихов. Он не был прирожденным оратором. Начинал он читать неуверенно, сбивался с тона, и только постепенно, как-то вдохновляясь, овладевал вниманием аудитории. Его чтение, построенное на разговорных интонациях, было исполнено лирической глубины. Постепенно он очаровывал слушателя тонкой иронией, своеобразной, лирической, «светловской». Особенности его поэтической мысли воспринимались не сразу. В манере чтения, как и в самих стихах, Светлов был оригинальным, неповторимым. Я это особенно остро почувствовал, когда слышал в его исполнении такие популярные, всем известные вещи, как «Каховка» и «Гренада». Новые грани этих хорошо известных стихов обнаруживались перед слушателем, раскрывались новые лирические пласты, новые темы, не замеченные при чтении этих произведений в книге. С тонкой иронией и в то же время сохраняя полную серьезность, читал поэт свои многочисленные юмористические стихи и эпиграммы.

В первые годы революции в Москве и в других городах стали возникать литературные кафе, которые являлись как

бы постоянными площадками для поэтических выступлений. Здесь немало было шумных деклараций, выступали в большинстве второразрядные поэты. Обычно это было чтение «с завыванием» или игра словами. Недаром слушали этих поэтов не так уж охотно. Правда, иногда выступали здесь виртуозы словесного жонглирования, которые могли поразить и огорошить бедного слушателя. Кто помнит сейчас таких поэтов, как Александр Кусиков или Вадим Шершеневич? А они ведь имели тогда большой успех. Это были ловкие «иллюзионисты» слова. Умением читать стихи, огорошивая, а не убеждая слушателя, отличались многие представители имажинистов. Большинство их стихов представляло собой нагромождение вымученных образов и картин.

Посетители этих кафе уставали от словесной игры и рады были послушать что-нибудь осмысленное, содержательное. Я помню, как в одном из поэтических кафе Вера Инбер прочла свою поэму и имела большой успех, хотя читала робко и не очень совершенно. Но поэма заинтересовала своим сюжетным развитием, своим драматизмом, социальным содержанием («Поэма о рубашке»).

Я нередко наблюдал, как серьезные и талантливые поэты постепенно отходили от внешней словесной игры. Не только творчество, но и сама манера чтения менялись, приобретали новые особенности, приближались к жизненной правде. Несколько раз, в разные годы, я слышал исполнение Сельвинским его поэмы «Улялаевщина». Когда-то, в начале двадцатых годов, это был фейерверк звуков, мастерская звуковая игра. Совсем по-иному он читал эту поэму через несколько лет. Острая, оригинальная форма оставалась, но основой чтения была передача внутреннего смысла поэмы, ее образов, характерных примет эпохи. Теперь поэма звучала сильнее, убедительнее.

Николая Асеева я слышал только в его ранние годы. Я запомнил исключительную музыкальность его чтения, лучше других поэтов он чувствовал скрытую музыку слова.

Борис Пастернак редко выступал на поэтических вечерах. Я был на его авторском вечере в одном из московских театров — и почти не узнал хорошо знакомых стихов в авторском исполнении. Куда исчезла их условность, отвлеченность?

Читать ему было нелегко. Видно было, что он не привык выступать перед большой аудиторией: голос звучал неровно, нередко слушатели чувствовали перебои ритма. Внешне его исполнение было далеко от совершенства. Но аудитория прощала это поэту. Его нелегкие для понимания стихи в авторском исполнении как бы приобретали новое раскрытие. И, казалось, до слушателя теперь доходило все то, что не всегда было ясно читателю. Стихи становились ближе, интимнее, человечнее.

Он порой делал большие паузы и уходил со сцены, чтобы собраться с силами. Он не был опытным эстрадным чтецом и, казалось, был удивлен успехом. Его заставляли бисировать некоторые стихотворения (например, стихи о творчестве «Так начинают. Года в два. . .»). Очень сильно он прочел тогда свою поэму «1905 год». Перед слушателями как был раскрывались поэтические картины большой исторической эпохи.

Много и в разные годы я слушал Сергея Есенина. Конечно, читал он по-разному, но всегда чувствовалось, что выступает большой лирический поэт, и всегда его чтение производило большое впечатление на аудиторию.

— Вы как будто вновь творите, когда выступаете с чтением стихов. . .— как-то отважился я ему сказать.

— Да, я вновь создаю стихи, когда выхожу их читать,— подтвердил он.

Может быть, поэтому чтение его стихов воспринималось как гениальная поэтическая импровизация. Когда он читал стихи, менялось его лицо, вдохновенно мерцали глаза, он неожиданно бледнел. Иногда он немного покачивался, в такт исполняемому стихотворению. Я запомнил жест правой руки со сжатым кулаком как-то сверху вниз, будто он что-то подтверждал — обычно так он заканчивал

то или иное стихотворение. И казалось, что во время чтения стихов он неотделим от слушателя, почти сливается с ним.

Есенин не всегда придерживался канонического текста, иногда изменял отдельные строчки, переставлял их. Позволял он себе и «вольности» — неожиданные, даже странные, но, видно, нужные ему в этот момент.

Мне осталась одна забава —
Пальцы в рот да веселый свист, —

и тут он действительно вложил пальцы в рот, и... свист, веселый, озорной, огласил аудиторию Политехнического музея. Это было неожиданно, но так соответствовало всему облику поэта, что публика зааплодировала.

Есенин очень чувствовал настроение аудитории, считался с ней. Обычно это были люди близкие ему. Они его вдохновляли. Но иногда публика вызывала его недовольство. Тогда это чувствовалось по какому-то капризному выражению лица, по глазам. Однажды в том же Политехническом музее я почувствовал, что слушатели ему почему-то неприятны.

И теперь говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд.

Последнее слово было им особенно выделено, подчеркнуто, брошено в публику так, что даже раздались протесты с мест.

Правда, так бывало редко, обычно поэт читал в тесном общении со слушателем, заражал его своим лирическим запалом. Тогда он читал много и охотно. И любил читать отдельные стихи по заказу слушателей, по их требованию.

В последний раз я слышал Есенина уже в 1925 году, за несколько месяцев до трагической гибели поэта. Он выглядел уставшим, явно не хотел выступать, делал это по обязанности. Мне показалось тогда, что поэт болен. Я подумал о том, что напрасно его заставили участвовать в концерте.

Уже в наши дни, совсем недавно, слышал я граммофонную запись чтения Есениным своих стихов. Честно говоря, я был очень огорчен, даже не поверил, что это читает Есенин. Запись была технически несовершенной. Но думаю, что самая точная запись не могла бы до конца передать обаяние, свойственное выступлению большого поэта.

4

Маяковский был великим поэтом — это известно всем. Но в то же время он был замечательным, гениальным мастером поэтической эстрады. Он не только читал стихи, но как бы рисовал картины голосом (недаром ведь был он и художником) — поэтические образы становились зримыми, всплывали перед твоим сознанием.

Я когда-то в детские годы слушал концерты Шаляпина. В вокальных тонкостях я тогда вряд ли разбирался, но он пел, и я, еще ребенок, явственно видел всю поэтическую картину — и зловещее дерево анчар, и титулярного советника, влюбленного в генеральскую дочь. В этом переходе для слушателя от звуков к зримости сказывалось высшее мастерство гениального артиста. Оно встречается редко.

На вечерах Маяковского я тоже все видел, все то, что он читал. И солнце, которое пришло к поэту в гости, обжигало меня своими лучами.

Мне посчастливилось слышать не только его стихи. Я слышал чтение им стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а также Асеева, Пастернака, тогда еще совсем юного Светлова, переводы из Рембо.

Он очень тонко чувствовал особый звуковой строй и систему поэтических образов автора. Для каждого стихотворения он находил свой особый стиль, свою неповторимую манеру чтения. И особенно отчетливо это проявлялось, когда он читал чужие стихи. Впрочем, это происходило довольно редко, во время дружеских бесед, с товарищами-поэтами. Но стихи Пушкина иногда можно было услы-

шать и на открытых поэтических вечерах. Были у Маяковского строки любимые, заветные:

Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Казалось, в этих пушкинских стихах было для него что-то личное, интимное, связанное с обстоятельствами его жизни.

В первый раз я слышал Маяковского еще в 1914 году, во время тогдашних выступлений футуристов. Экспрессия, выразительность, умение владеть голосом — все это тогда привлекало особенное внимание слушателей.

Несколько позже большое впечатление произвело на меня его исполнение «Поэтохроники» революции (событий 1917 года).

Это было через несколько месяцев после Февральской революции. Читал он в богемной обстановке поэтического кафе. Но в прочитанных им строках было подлинное ощущение больших исторических событий, это был гимн революции. И помню, как все слушатели внезапно встали и продолжали стоя слушать поэта.

Позднее, в 1926—1929 годах, я слышал много раз выступления Маяковского, рассчитанные на различную аудиторию. Я понял, что он знает требования слушателей, всегда считается с ними. Я помню его выступление на одном из московских заводов во время обеденного перерыва. Он читал доходчиво и вместе с тем чрезвычайно выразительно. Потом я спрашивал у слушателей, понятны ли его стихи. Оказалось, что всем понятны. Поэт радовался. Это было для него тогда особенно важно.

Его поэтические выступления, с которыми он объездил всю страну, были прекрасными образцами пропаганды революционной поэзии. Он подробно рассказывал слушателям о поэтическом труде, как бы приоткрывал для простых людей дверь в свою творческую лабораторию. Рассказывал о том, что огромный труд — удел подлинного поэта.

Выступления Маяковского не раз описывались, часто во всех подробностях, деталях. Я здесь не намерен повторяться, не буду рассказывать о том, как он читал отдельные произведения. Мне важно отметить некоторые особенности его выступлений.

У него была очень богатая звуковая палитра. Он мастерски владел голосом. Каждая строчка, каждое слово его стихов как бы попадали в цель. Читал стихи он с большим артистизмом. Это были своеобразные спектакли, причем спектакли эти были поставлены гениальным режиссером. Режиссер и актер как бы совмещались в одном лице.

Маяковский много работал над своими поэтическими выступлениями. Он не только писал стихи, но всегда знал, как они будут звучать. Он как бы готовил свои стихи для голоса, для устной передачи. При этом умел не только захватить, но и убедить слушателя, заставить его поверить себе. Я не раз беседовал со слушателями вечеров Маяковского и видел, как под влиянием звучащих поэтических строк менялись взгляды людей, их понимание жизни, даже мировоззрение.

Конечно, бывали в выступлениях Маяковского иногда оттенки грусти, тоски. Но все же основным в его стихотворных выступлениях был пафос революции, утверждение того нового, что совершилось и продолжает совершаться. Недаром он любил неожиданные переходы от лирики к большим эпическим полотнам. Он пропагандировал с эстрады все многочисленные жанры своей поэзии, причем каждый раз его поэмы и стихи подавались по-новому, необычно, неожиданно. Торжественный пафос «150 000 000» звучал в его устах совсем не так, как большая углубленная политическая тема поэмы «Владимир Ильич Ленин». По-разному воспринималась и личная, лирическая тема: от юношеской любви («Флейта-позвоночник») до зрелого яркого чувства в поэме «Про это». Его «кавалерия острот» разила сильно, беспощадно.

Слушая Маяковского, я часто удивлялся: он по-разному читал одни и те же стихи. Это не было случайным. Не

было данью настроению поэта. Разной была аудитория, и он отлично знал, как она будет принимать то или иное стихотворение. Он не избегал и традиционной поэтической читки, ведь он так хорошо чувствовал метрические особенности стиха. Порой он был близок к той манере революционных лет, которую мы условно назвали «митинговой».

Но все эти знакомые приемы чтения были им обобщены, обновлены и подняты на высшую ступень. Его поэтические выступления являлись замечательными образцами живой пропаганды слова.

Маяковский был создателем своей поэтической эстрады, он был глубоко оригинален и неповторим. Все попытки внешнего подражания манере чтения Маяковского успеха не имели. Такое подражание, конечно, невозможно и ненужно. Важнее продолжать традиции Маяковского на поэтической эстраде. Речь должна идти о точности авторской передачи, о том, что каждая стихотворная строчка должна доходить до слушателя, попадать в цель. Выступление поэта перед аудиторией — важное, ответственное дело, важная часть поэтической работы. Маяковский понимал это и уделял этому делу большое внимание.

После смерти Маяковского В. Каменский писал: «Так потрясающе превосходно читать стихи, как это делал сам поэт, никто, никогда не сумеет на свете».

Это, конечно, правильно, но и другие поэты должны стремиться к такому совершенству.

То, что я здесь рассказал, это лишь мои впечатления. Мне кажется, что чтение поэтами своих стихов должно быть изучено, обобщено, весь имеющийся материал необходимо собрать, исследовать. Для тех, кто серьезно интересуется поэзией, важно знать, как читали поэты свои стихи, как воспринималось это чтение слушателем, как звучат стихотворные строки в неповторимой авторской передаче.

Без знакомства с этим история нашей поэзии будет неполной, незаконченной.

ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ

КАМРАД ПЬЕР

Так уж случилось, что я оказался первым человеком, с которым ему пришлось говорить на своем родном языке после приезда в Советский Союз.

Встречать автора музыки «Интернационала» собралась группа репортеров, а также представители культурно-просветительных организаций и жившие тогда в Москве бойцы Парижской коммуны Г. Инар и П. Фуркад. Но все они не сразу попали к поезду, который подали не туда, где его ждали. Помню, что мы, репортеры, даже бежали к этому поезду. Из репортеров я единственный говорил по-французски, и мы заранее условились, что я буду вести беседу...

Мы узнали Дежейтера по фотографиям. Он вышел из поезда с чемоданом, немного растерянно оглядывался по сторонам. Дело было не только в том, что он ни слова не знал по-русски: ему было уже восемьдесят лет и он очень плохо слышал.

Я первый подошел к нему, приветствовал его и тут же совершил ошибку, назвав его «месье».

«Камрад Пьер»,— перебил он меня.

Затем он шел, опираясь на мою руку. Он был впервые в социалистической стране, даже мелочи казались ему значительными. Его заинтересовала надпись у двери вокзала. Не сразу удалось объяснить ему, что это надпись не слишком важная, просто написано «вход». Здесь у двери его встретили старики коммунары, расцеловались с ним. Как впоследствии выяснилось, знакомы они не были. Его окружили, впрочем он не забыл своего первого спутника и переводчика — когда подошла машина, он предложил мне ехать с ним.

Ему были отведены две довольно хорошие комнаты в Доме ветеранов революции. Мне показалось, что он немного недоволен, раздосадован. Я скоро понял, в чем дело.

Отвел в сторону тогдашнего директора Дома, сказал, что для автора музыки нашего гимна следовало бы достать рояль. Скоро ошибка была исправлена, доставили рояль.

Я потом не раз бывал у него в гостях и слышал его игру на этом инструменте, слышал, как он пел своим хриплым, старческим голосом.

У нас мало знают об этом замечательном человеке. Даже фамилию его пишут неправильно. Почему-то называют его Дегейтером. Впрочем, в последнем издании Большой Советской Энциклопедии приведены оба написания рядом. Я твердо помню, что он называл себя Дежейтером.

Сколько-нибудь серьезные сообщения о нем печатались только в музыкальных журналах. Широкая публика знает о его жизни и творчестве очень мало.

Уроженец Бельгии, рабочий-мебельщик, он с детских лет увлекался музыкой. Зрелые свои годы прожил в Лилле. Здесь он руководил хором «Рабочая лира», для которого и был написан «Интернационал» на слова Потье в 1888 году, и тогда же впервые был исполнен под его руководством.

Он писал много, я видел у него многочисленные издания его музыкальных произведений. Правда, это были издания провинциальные, а тираж их был, по-видимому, невелик.

Конечно, «Интернационал» знаменовал неожиданный взлет его творчества, остальные его произведения теперь забыты.

Когда я пришел к камраду Пьеру через несколько дней после первой нашей встречи, я нашел его восторженно настроенным. Он успел прослушать «Интернационал» в исполнении двух оркестров и нашел, что теперь этот пролетарский гимн звучит сильнее, чем его старая песня.

— Я ведь писал тогда,— говорил он,— только песню для хора.

Оказывается, «Интернационал» был создан в два дня. Сложность работы заключалась в том, что у камрада Пье-

ра не было в те дни дома рояля, он работал на фисгармонии и не всегда мог полностью передать свои музыкальные замыслы.

Советский музыковед Сохор считает, что у нас, благодаря некоторым изменениям, «был подчеркнут гимнический характер музыки „Интернационала“». Примерно то же говорил мне сам камрад Пьер. Его песня стала торжественнее, значительнее. Песня стала гимном.

Несколько позже, после VI Конгресса Коминтерна, на котором он присутствовал, камрад Пьер дирижировал сводным хором, исполнявшим «Интернационал».

— Это для меня было великим счастьем,— вспоминал он.

Дежейтер показывал мне первое издание великого гимна. Это зеленая листовка, на которой текст и музыка напечатаны с обеих сторон, не очень четким шрифтом. Я где-то читал, что это первое издание было анонимно. Неверно. Но фамилия автора указана здесь без инициалов, что привело к неожиданным, неприятным последствиям. Был у Пьера младший брат Адольф. Он тоже занимался музыкой и руководил рабочим оркестром. Оба они уже давно вступили в социалистическую партию. Адольф оставался социалистом, а старший брат, Пьер, после Турского конгресса в 1920 году вступил в только что организованную Французскую Коммунистическую партию.

Социалисты тогда господствовали в Лилле, мэр города был социалистом. Они объявили Адольфа создателем «Интернационала». В результате — долгий процесс, и буржуазный суд восстановил Пьера в правах автора. В конце жизни Адольф признал, что его «обольстили» и что он поступил в отношении Пьера «нехорошо». У Пьера имелось предсмертное письмо Адольфа, подтверждавшее, что к работе над «Интернационалом» он никакого отношения не имел.

Дежейтер писал музыку и к другим стихам Потье. Пользовалась популярностью его музыкальная обработка стихотворения Потье «Инсургент». Я слышал в исполнении

самого Дежейтера кантаты «Красная дева» и «Коммунар», также на слова этого французского пролетарского поэта. «Красная дева» посвящена коммунарке Луизе Мишель.

Дежейтер писал не только музыку, но и тексты. Я слышал в его исполнении песню «Вперед, рабочий класс». Несколько своих произведений он посвятил Советскому Союзу («Серп и молот», «Триумф русской революции»).

Слышал я в его исполнении не только боевые, революционные песни. Осталась в Сен-Дени (предместье Парижа) его любимая внучка Сюзанна. Немало музыкальных пьес и песен он посвятил ей. Здесь была музыка о цветах — лилии, розе, сирени, песни о певчих птицах — соловье, малиновке. Мне кажется, интересной была его музыкальная интерпретация знаменитой сказки о «Красной шапочке».

Дежейтеру предлагали поселиться в Москве. Но расстаться со своей Сюзанной он не мог, он дал слово ее отцу, своему покойному сыну, что всю жизнь будет ее опекать. Теперь Сюзанна была уже взрослой (ей было девятнадцать лет), в Сен-Дени у нее был жених, и переезжать в Москву она не хотела. К тому же мне говорил сам Пьер, что трудно в его возрасте менять бытовые условия. Кормят его хорошо, но пища для него непривычная. Тосковал он и по французскому вину. Товарищи подарили ему несколько бутылок наших кавказских вин, но это вино ему не понравилось. Одним словом, камрад Пьер прожил в Москве примерно четыре месяца, вернулся в Сен-Дени, где и умер через четыре года.

Дежейтер исполнял при мне не только революционные или лирические вещи. Он в свое время увлекался авиацией. У него были произведения, посвященные знаменитым авиаторам первого призыва — Блерио, Фарману, Сантос-Дюмону. Он гордился знакомством с ними. Вероятно, строгий критик найдет в этих его произведениях элементы натурализма, он пытался передать в своей музыке шум пропеллера, бег самолета по взлетной дорожке. Но не всегда это ему удавалось.

Он был очарован приемом в Москве, восторженно говорил о советских людях, особенно о советской молодежи. Но мне казалось, что-то его смущало. Раз он сказал мне:

— Я считаю себя мастером двух искусств.

Я сразу не понял. Я знал, что камрад Пьер писал стихи. В молодости он выступал как шансонье, был популярен в Лилле, выступал в рабочем кафе не только с исполнением песен, но и с чтением своих стихов.

Но когда Дежейтер характеризовал себя как мастера двух искусств, он имел в виду не поэзию, не свое пение. Он был искусным резчиком по дереву, создателем художественной, стильной мебели. И здесь он считал себя подлинным художником. Он привез многочисленные альбомы, фотографии и даже маленькие, очень изящные макеты своей мебели. Посланы они были багажом, адрес был не очень четкий, получил он их довольно поздно.

Этим его творчеством почему-то мало заинтересовались в Советском Союзе. В то аскетическое время не очень у нас думали об изысканной мебели. И Дежейтер жаловался: с музыкантами он много встречался, а с мастерами искусств, создателями мебели встретиться не удалось. Как это получилось, не знаю. Дежейтера принимали прежде всего как автора «Интернационала».

В сентябре 1928 года он уезжал из Москвы. На вокзале плакал, обещал вернуться. Сдержать это обещание ему не пришлось. Его провожали борцы Парижской коммуны Инар и Фуркад.

Я спрашивал Дежейтера о днях Парижской коммуны. В 1870—1871 годах он был солдатом, в политической жизни тогда мало разбирался. Он шел в Париж.

— Помню,— говорил он,— был очень теплый, солнечный март, бурно цвела сирень.

Его задержал немецкий патруль, и он несколько месяцев просидел в заточении. Таким образом, непосредственным участником коммуны он не был. Но коммунары считали его своим близким другом как творца «Интернационала» и других революционных песен.

Морис Торез в своей небольшой книжке «Сменяющиеся звуки „Марсельезы“ и „Интернационала“» указывает, что эти две великие песни тесно связаны со всеми народными революционными традициями прошлого. Он говорит о песнях XV и XVI веков, о песнях гугенотов, о песнях Великой французской революции, об их отражении в народном творчестве и в передовой художественной литературе.

Дежейтер был музыкантом-самоучкой (правда, одно время он учился в Лилльской народной консерватории). Но он хорошо был знаком со старыми революционными песнями. Я слышал, как он исполнял одну из песен времен французской революции. Он рассказывал, что когда-то записывал гугенотские песни. Этот рабочий-песенник, несомненно, был человеком большой музыкальной культуры, вместе с тем он был оригинальным и многогранным художником, тесно связанным с рабочими массами Франции.

СОКРОВИЩА КОРОЛЯ ФЕЛЬЕТОНА

Дело было давно. Речь идет о «калединском» Ростове начала 1918 года. Мой тогдашний друг, поэт Олег Эрберг, сказал мне в привычном для него таинственном тоне:

— Сейчас мы с тобой поедем в гостиницу к моему новому приятелю. Ты его знаешь, но не догадываешься, кто это. Он покажет нам свою замечательную коллекцию, потрясающую, невиданную, знаменитую!

И вот мы сидим в номере гостиницы, пьем кофе, нас угощает хозяин, человек немолодой, полный, с усталым лицом. И только горят его глаза, и как будто бы пронизывает он тебя своим взглядом. И как будто бы смеется его пенсне и улыбается случайная мебель в гостинице. Впрочем, он сдержан и строг. Где-то я его уже видел, быть может видел его портрет. Да, вспомнил, это знаменитый Влас Дорошевич, прославленный король фельетона. Я уже слышал

о его недавнем приезде в Ростов. Как это Эрберг успел с ним подружиться за столь короткий срок?

— Вы мне понравились,— сказал хозяин.— Я обещал показать мою коллекцию вам и вашему другу (оказывается, Эрберг уже и обо мне говорил). Вот мои сокровища, в этих больших чемоданах (четыре больших чемодана стояли в стороне). В будущем надеюсь устроить выставку своих коллекций. Пока показывал только избранным, тем, кто мне приятен, преимущественно молодежи. Я молодежь очень люблю, да она и не так придирчива...

Я был, конечно, очень заинтересован. Что это за таинственные сокровища знаменитого фельетониста? Что это может быть? Но догадаться не мог.

— Я собирал эту коллекцию свыше десяти лет,— сказал Дорошевич.— Перед войной каждое лето бывал в Париже. Все парижские антиквары и букинисты были моими друзьями. К моему приезду они мне подготовляли соответствующий материал (я, конечно, писал им заранее). И не скрою, что на приобретение его я тратил немалые деньги. Вот они, сокровища мои. «В подвал мой тайный к верным сундукам...» — процитировал он Пушкина и даже зажег зачем-то свечи, хотя разговор происходил днем.

В четырех сундуках были разложены журналы, газеты, листовки, карикатуры, а также рукописные документы времен Великой французской революции XVIII века. Аккуратно, по годам. Он показывал нам особо ценный материал: декрет с подписью Робеспьера, два письма Сен-Жюста, письмо Наполеона, еще одного республиканского генерала. Были и письма неизвестных людей тех лет, очень яркие и характерные. Он нам читал и переводил отрывки. Я запомнил любовное письмо какой-то девицы к своему другу в армию и письмо офицера, кажется по фамилии Литрей,— из швейцарской армии к своей матери в Париж.

В этих письмах действительно чувствовался аромат эпохи. Тогда умели писать письма, особенно, пожалуй, письма любовные.

Дорошевич рассказывал очень интересно, замечательно

комментировал каждый экспонат своей коллекции. Не всему, наверное, можно было верить. Да это и не требовалось. Историком революции он не был. Конечно, в его рассказах были и противоречия, и фантазии. Даже мистика. Я помню, он показывал зарисовки какого-то двора со странными звездочками. На месте этих звездочек, оказывается, появлялись призраки. Дорошевич всерьез в это верил. И все же в его рассказах чувствовалась та далекая эпоха, это была романтика революционных лет, переданная талантливым художником. Как я жалел, что не мог записать его рассказы!

— Сейчас,— сказал Дорошевич,— я покажу вам самый замечательный памятник моей коллекции.

Это был номер маратовского журнала «Друг народа», немного запачканный какой-то коричневой жидкостью.

— Этот журнал — последнее, что держал Марат в своих руках. Журнал залит его кровью, кровью «друга народа».

Дорошевич верил в это, мы — не совсем. Может быть, какой-нибудь парижский антиквар или букинист убедил когда-то восторженного и наивного русского покупателя, что этот номер журнала действительно залит кровью Марата. А он уверовал в это — оттого что хотел верить.

Дорошевич аккуратно сложил все эти картинки, журналы, документы и с видом скупца запер свои чемоданы.

— Теперь будем говорить о другом.

Он рассказывал, как после приезда в Ростов к нему приходили журналисты из местных газет. Когда он им говорил, что в белой прессе сотрудничать не будет, потому что служит она обреченному делу, ему не верили. Считали, что он набивает себе цену, тем более ведь было известно, что «король фельетона» в старые времена умел отстаивать свои интересы. У Сытина он мог брать в кассе сколько хотел.

— Один из этих дураков,— сказал Дорошевич,— даже спросил меня: «Вы, может, большевик?» Я ответил: «Не

надо быть большевиком, чтобы понять, что дело белых — дело гиблое».

Это не выдумка Дорошевича. Позже некоторые старые журналисты подтвердили, что он отказывался работать в белой прессе и даже смеялся, когда ему предлагали деньги. Он был революционно настроен, хотя представления его о революции были во многом путаными, наивными и романтическими.

Когда мы прощались с Дорошевичем, он говорил, что собирается прочесть лекции о французской революции и о Наполеоне. Вскоре эти лекции были объявлены.

Я был на его лекции о французской революции. Конечно, с точки зрения историка можно было придираться ко всяким неточностям и противоречиям, но читал он восторженно и вдохновенно, не раз слушатели аплодировали «по ходу действия». Здесь тоже фигурировал «Друг народа» с кровью Марата; он показывал журнал слушателям, и слушатели верили, что это действительно кровь Марата.

Я запомнил слова Дорошевича:

— Революция всегда переоценивает свои силы, и в этом ее сила. Контрреволюция всегда недооценивает силы революции, и в этом ее слабость.

После этих слов представитель так называемой «государственной стражи» (белогвардейской полиции) прервал лектора и заявил, что, если он будет говорить что-либо подобное, лекция будет запрещена. На этот раз Дорошевичу удалось закончить лекцию. Но следующая его лекция о Наполеоне не состоялась.

Впоследствии, через много лет, я видел выставки, посвященные французской революции, в Историческом музее в Москве и в Эрмитаже.

Трудно, конечно, судить достаточно ответственно, но мне кажется, что коллекция Дорошевича могла бы поспорить с ними (даже если считать, что кровь Марата — выдумка).

Я спрашивал об этой коллекции музейных работников.

Они что-то смутно слышали о ней, но толком ничего не знали. Один даже спросил меня, не миф ли эта коллекция.

— Нет, не миф,— сказал я.— Я видел ее собственными глазами.

После окончания гражданской войны Дорошевич приехал в Петроград и скоро сошел с ума (вообразил себя балериной). Может быть, он был уже болен, когда мы встретились с ним. Поведение его было причудливым и странным — и в гостинице, и во время лекции.

Один из моих знакомых хорошо знал вдову Дорошевича. Она ему рассказала, что, когда он уезжал из Петрограда на юг, она просила оставить коллекцию. Но он очень обиделся. Приобрел большие чемоданы, тщательно и долго упаковывал свои коллекции. Вернулся он в Петроград вообще без всяких вещей. На вопрос, где его коллекция, ответить не мог. Некоторые музейные работники пытались разыскать эту коллекцию на юге, но ничего не добились.

Не было найдено и никаких отдельных материалов из коллекций Дорошевича. Может быть, еще найдутся?

РАЙСКИЙ УГОЛОК

Первые сведения об этом необычайном месте привезла декадентская девица Фрима, непременная участница всех литературных и поэтических собраний в Ростове.

— Вообразите себе: крымские скалы, замечательно красиво, совсем не похоже на Ялту или Алупку, зелени почти нет, прохладно, горы необычайной красоты. Здесь республика художников и поэтов, жизнь на лоне природы. Творчество и вдохновение.

На законный вопрос о том, чем питаются эти творцы, ответа не последовало. Должно быть, «акридами и диким медом».

Более пространные и точные сведения сообщила семья провизора Денвица, одно время жившая в Феодосии.

Это болгарская деревня, со странным названием Коктебель. Очень красивая природа, действительно немного

фантастическая, не похожая на Южный берег Крыма. Рассказывали, что знаменитый путешественник, видный профессор-окулист фон Юнг всю жизнь искал места, где бы ему жить в старости, и, когда он подъехал верхом к коктебельскому заливу, он сказал:

— Вот здесь!

А затем неподалеку поселился его друг, известный поэт Максимилиан Волошин. К Волошину приезжали поэты и художники. Так началась здесь жизнь, не похожая на жизнь обыкновенных людей, почти фантастическая жизнь на фоне необычайной природы.

Эти рассказы попадали на благоприятную почву в Ростове. Шло начало лета 1918 года. Город уже дважды становился районом боевых действий, а теперь, как и тогдашняя Украина, был занят войсками Вильгельма Второго. Сколько-нибудь честные интеллигенты не желали жить под охраной немецких штыков. Ходили слухи, что в республике поэтов и художников немцев нет. Тихо там, спокойно — ни приказов, ни реквизиций, ни выстрелов.

Из уст в уста шла молва об этом чудодейственном уголке, об этой анархической республике поэтов и художников. Я думал — поговорят, поговорят и забудут. Нет, кое-кто уже пустился в путь. Приходили письма:

«Живем здесь тихо, спокойно, доехали в общем благополучно, правда немного нас ограбили, когда проезжали «махновские владения», но тут уж ничего не поделаешь — это неизбежно».

Немного фантастически настроенный зубной врач Филя (так его называл весь город) тоже поехал в Коктебель и писал оттуда: «Живем замечательно, как Робинзоны!»

Я ехать в Коктебель не собирался, но студентов начали мобилизовывать в белогвардейскую донскую армию Краснова, а это меня никак не устраивало.

В эти дни я встретил студента Богомолова. Это был очень веселый и оборотистый малый. Он не только учился, но и работал в канцелярии университета. Пользовался особым доверием ректора.

— Наш ректор,— сказал он,— взял год назад телескоп в Симеизской обсерватории. Клятвенно заверил, что вернет через год. Конечно, он тогда не предполагал, что начнется гражданская война. Сейчас он посылает меня в Крым отвезти телескоп. Могу взять вас с собой. Отвезем телескоп и махнем в Коктебель.

Университет обосновался в Ростове только летом пятнадцатого года. Это был эвакуированный Варшавский русский университет. Прибыл он налегке, без библиотеки, без лабораторий. Это был нищий университет, живущий благотворительностью. Помню, в коридорах Московского университета лежали книги и какие-то приборы, предназначенные к отправке в Ростов. Это было еще в 1916 году.

Как мы путешествовали, рассказывать не буду. Об этом можно написать приключенческую повесть. В Симферополе я расстался с моим приятелем и добирался в Феодосию один. На феодосийском вокзале не было ни экипажей, ни подвод с лошадьми. Только небольшие брички, запряженные ослами. Оказалось, немцы реквизировали у населения лошадей, ослами они не интересовались.

Ехали мы на ослах довольно долго. Наконец открылся коктебельский залив. И тут на дороге мы увидели двух негров, большого и маленького. Не странно ли? Они приветливо жестикулировали и, как показалось, называли меня по имени. Скоро я понял, что это загорелые дочерна ростовский зубной врач Филя и его сын.

Природа Коктебеля действительно необычайная, почти фантастическая, она описывалась не раз. Не буду повторяться. Тем более что после приезда я не разглядел как следует коктебельских красот. Я заболел. Врач, приехавший из Феодосии, нашел брюшной тиф, правда в слабой форме. И вот в комнате скромного студента появился сам коктебельский патриарх М. Волошин в сопровождении режиссера Н. Евреинова и какого-то странного человека с бородкой и большими усами. Волошин прочел мне нотацию. Оказывается, я первый серьезный больной в Коктебеле.

— Здесь не полагается болеть. Впрочем, ничего, Николай Владимирович (так звали человека с бородкой) вылечит вас в два счета — мистическим лечением, пассами.

Затем Волошин и Евреинов ушли, а Николай Владимирович стал меня, несчастного, мучить. Никакого облегчения я не чувствовал, только устал. Избавиться от него удалось не без труда.

А через несколько дней, когда я уже поправлялся, появился новый коктебельский Айболит. Я сидел в кресле на балконе, и вдруг через забор перескочил какой-то первобытный человек в шкуре с палицей. Я даже слегка испугался, но он представился очень вежливо:

— Где больной? Я врач.

Это был знаменитый впоследствии доктор Фридлянд, не только врач, но и писатель, впрочем особого, как пишут в цирковых афишах, «оригинального жанра». Автор нашумевшей в свое время книги «За закрытой дверью».

Лечил он меня успешно, я постепенно стал выходить, приобщился к тогдашней коктебельской жизни. Странная это была жизнь. Большинство жителей гордо именовали себя «обормотами», делали то, что, согласно тогдашним обычаям и приличиям, делать никак не полагалось. Всякие попытки следовать приличиям воспринимались как оскорбление коктебельских нравов, как покушение на коктебельские свободы. Так, досталось давно жившей в Коктебеле артистке Дейша-Сионицкой. Был не только устроен кошачий концерт перед ее дачей, но и замазаны стены — только за то, что она осмелилась защищать «приличия».

По-видимому, эта борьба с приличиями велась довольно давно. В кафе «Бубны» (его оборудовали художники из группы «Бубновый валет», раньше это был просто сарай) была устроена выставка, и там приводился приказ таврического губернатора о том, что купаться на крымских пляжах надлежит в купальных костюмах и эти костюмы «должны соответствовать своему назначению». В тогдашнем Коктебеле эти костюмы своему назначению не соответство-

вали. В ходу была песенка на мотив знаменитого «Крокодила»:

От Юнга до кордона
Без всякого пардона
Мусье подряд
С мадамами лежат.

Кордон — здание прежней таможни. На другом конце пляжа красовалась дача фон Юнга, который считался создателем нового Коктебеля и о котором я уже говорил.

Республика поэтов и художников жила по своим неписаным законам. Крым был оккупирован немцами еще в мае 1918 года. Было организовано ими и местное белогвардейское правительство во главе с неким Сулейманом Сулкевичем, которого шутя называли «крымским ханом». Это правительство сидело в Симферополе, на местах крымских властей что-то видно не было. А немцев приморская деревня, расположенная тогда вдали от проезжих дорог, мало интересовала. Так что и немецких властей до поры до времени не было. Был только деревенский староста, который по всем вопросам приходил советоваться с Максом.

Вообще Макс был очень популярен среди местных крестьян не как поэт или художник, а как человек, замечательно знающий свой край, в том числе его сельское хозяйство. Он давал очень ценные советы по этим вопросам. Я просто поражался, как он знал свою Киммерию, каждый ручеек, каждое деревцо. Это был замечательный краевед. Кстати сказать, в начале двадцатых годов вышел в Крыму путеводитель, где отдел восточного Крыма написал Волошин.

У него были необычайные хозяйственные познания. В частности, он научил коктебельских крестьян делать маленькие ручные домашние мельницы (якобы, по античному образцу). Такие домашние мельницы были во всех крестьянских дворах Коктебеля и, кажется, в соседних селениях. Здесь в это время царило натуральное хозяйство. Был,

правда, в деревне небольшой рынок, но там больше не продавали, а меняли.

Я слышал слова самого Волошина: «Деньги нам не нужны». Может, это была шутка. Один из гостей дома Волошина уверял меня, что сказано это всерьез. Думаю, что поэт был слишком умен, чтобы верить в эту наивную утопию. Когда у Волошина устраивались поэтические вечера, то за вход брали самые прозаические деньги. То же самое было и на выставках в кафе «Бубны».

Я стал бывать в доме Волошина, он и тогда был небольшим музеем. В нем чувствовался поэтический вкус хозяина. В доме хранилось много больших камней интересной формы, стояли диковинные деревья в кадках, интересно подобранные цветы и листья; рядом с ними — скульптуры и картины начала нынешнего века, близкие к декадентству и формализму. С одной стороны, что-то «киммерийское», а с другой — явное влияние декадентской культуры.

Мать Волошина, носившая наименование Пра (вероятно, от слова «прародительница»), держала себя по тому времени непривычно. Она постоянно курила, носила широкие шаровары. Теперь этим никого не удивишь, но тогда привлекало внимание. Она была настоящим художником в области вышивания и аппликаций. Некоторые ее вышивки, еще до войны, удостоились наград на парижских выставках. Особенно славились ее тюбетейки, которые она охотно дарила.

Сам Волошин, казалось, сроднился с природой родной Киммерии. Кстати сказать, особенно удачно звучали его стихи здесь, на пляже, под аккомпанемент волн. Когда потом я увидел его в Харькове, в обычном костюме, мне показалось, что он поблек, утерял свою внешнюю поэтическую привлекательность.

Он был человеком огромных знаний, впоследствии по его указаниям производились не только археологические раскопки, но и горные разработки. В смысле знания при-

роды, сельского хозяйства родного края он не имел себе равных среди поэтов своего поколения.

Он был очень гостеприимен, и еще до революции его дом стал чем-то вроде дома отдыха для литераторов и работников искусств. Он не брал с них денег. При Врангеле он скрывал в своем доме Крымский комитет партии. Но стихи его тех лет, объединенные в сборник «Демоны глухонемые» и посвященные русской истории, могли быть ошибочно истолкованы. Он пытался говорить о своем нейтралитете в гражданской войне. Правда, в беседе с одним товарищем он говорил, что не хотел этого, это вышло против его воли.

Состав гостей его дома был пестрым и странным. По-видимому, он не очень разбирался в людях. Николай Владимирович, который врачевал меня, мне кажется, был явным шарлатаном; в доме Волошина жил и другой человек такого же типа, выдававший себя за внебрачного сына Николая Второго. По словам режиссера Н. Евреинова, тоже жившего тогда у Волошина, это был явный жулик, пытавшийся обокрасть дом.

Конечно, здесь бывали обаятельные и интересные люди, например Никифор Маркс, крымский фольклорист, в прошлом генерал, участник офицерской революционной организации в 1905 году. Он был в этой организации единственным генералом и должен был уйти в отставку. Он мастерски пел песни под аккомпанемент народных инструментов.

В конце августа в гости к Волошину приехал Андрей Белый. К сожалению, знакомство мое с ним было недолгим. Однажды я гулял с ним, затем слышал его разговор с какими-то девочками лет тринадцати-четырнадцати. Он их в чем-то убеждал, очень серьезно, строго. Мне тогда понравилось, что известный писатель так серьезно говорит с детьми. По-видимому, он избегал бесед на философские и литературные темы, много гулял, отдыхал.

Когда я читал прозу Андрея Белого, мне казалось, что язык его произведений — особый, специфический литера-

турный язык. После знакомства с ним выяснилось, что он и в жизни говорит так и, по-видимому, иначе говорить не может.

В мае торжественно праздновался день рождения Волошина. Это была очень яркая постановка, осуществленная режиссером Н. Евреиновым. В ней принимали участие многие гости. Духи моря, духи гор приносили ему свои дары. Его приветствовал Нептун.

Несколько стихов, которыми сопровождались эти дары, я запомнил, например:

Кушай, кушай наши сливы,
Киммерии мощный столп!

Волошин сидел на балконе, на импровизированном троне, одетый в пурпурную тогу. Это была работа его матери. Не знаю, какие здесь были материи и краски, но костюм его был действительно очень эффектен.

Он отвечал на приветствия стихами — к сожалению, я их не запомнил.

Настал новый праздник, праздник молодого вина. Виноград полагалось давить ногами, в особом сарае. Тогда вино будет особенно вкусным. Так считали крестьяне. Волошин и Евреинов должны были участвовать в этой церемонии. Их пригласили коренные жители Коктебеля. Они сняли обувь, очень внимательно и аккуратно работали по указанию крестьян. Им даже аплодировали.

Вином угощали бесплатно, на скамейках рынка провозглашались тосты. Было очень весело.

Среди коктебельских крестьян был некто Гаврила, охотно исполнявший поручения приезжих. Он попал сюда из центральной России, но прижился, имел уже свой домик и своего осла. В разгаре веселья он вдруг запряг этого осла и выехал на проезжую дорогу. Зачем? Позже он не мог ответить на этот вопрос. По дороге проезжал немецкий офицер. Вышло так, что Гаврила загородил ему дорогу. Немец долго кричал, но Гаврила никак не реагиро-

вал. Тогда немец выстрелил — может, только для острастки. Гаврила был ранен в руку, как потом выяснилось, легко, кость не была задета. Но все же он вернулся окровавленный, началась паника, веселье было прекращено.

Волошин и Никифор Маркс (все-таки бывший генерал) на следующий день отправились в Феодосию, к немецкому коменданту. Они требовали, чтобы он нашел этого офицера, наказал его. Комендант их принял грубо. Он очень удивился, что в Коктебеле нет немецких властей.

Через два дня приехал верхом молодой немецкий лейтенант и заявил, что он назначен комендантом Коктебеля. Скоро пришли пешком несколько немецких жандармов.

Новый комендант, правда, первоначально относился ко всем очень вежливо и внимательно. Он, оказывается, знал, что здесь живут художники и поэты, а Волошина даже величал «дер берюмтер дихтер» (знаменитый поэт), но все же было ясно, что кончается коктебельская вольница, коктебельские золотые дни.

Попытка части художественной интеллигенции отсидеться в стороне от схватки, конечно, ни к чему привести не могла. Об этом очень наглядно свидетельствует история «райского уголка».

О Коктебеле писали довольно много, но больше о Коктебеле более поздних лет, о Коктебеле в 1918 году известно очень мало, поэтому не грех будет вспомнить, тем более что история его поучительна.

Гости Волошина разъехались, закрылось кафе «Бубны». Я тоже уехал тогда, а вновь оказался в Коктебеле только через много лет, в 1935 году.

Коктебель изменился, появилось довольно много новых домов, исчезли старые. Я даже с трудом нашел место, где некогда находилось кафе «Бубны», в котором устраивали свои выставки художники группы «Бубновый валет».

На высокой скале над морем был похоронен Волошин. Он сам указал место своей могилы. По рассказам Бориса

Михайловича Эйхенбаума, который присутствовал на его похоронах, это были похороны необычайные. Хоронили его вечером. Собрались крестьяне не только Коктебеля, но и всех ближайших селений. Шли с факелами, гнали скот.

Все в Коктебеле изменилось. Все, кроме скал, коктебельского залива, величественной громады Карадага. Может быть, и природа тоже меняется, но куда медленнее, чем события и люди.

В САМОМ НАЧАЛЕ ВЕКА

История одного детства и юности ранней

Времена меняются, и мы меняемся в них.

(Латинская пословица)

Повесть наших отцов
Точно повесть из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится только во сне.

Б. Пастернак, «1905 год»

БУРЫ И АНГЛИЧАНЕ

Давно это было и теперь кажется странным, причудливым. Может быть, все, что здесь написано, я только выдумал или видел во сне... Пожалуй, все это покажется особенно удивительным молодому читателю, который живет совсем в другое время и окружен иными, непохожими людьми.

Вот я бегу к маме выяснить мучивший меня вопрос. Кто же культурнее — буры или англичане?

Отзвуки далекой войны, в то время уже, по-видимому, догоравшей, тревожили мое детское сознание. На картинках в журналах мне показывали буров в войлочных шляпах и англичан в красных мундирах. Я видел ружья у них в руках.

Войну я воспринимал как занимательную веселую игру. Взрослым тоже бывает скучно, и они играют, как дети.

Видел я в нашем городе парад войск на площади у памятника Александру Второму, слышал музыку, под которую маршировали солдаты. Все это тоже напоминало игру, веселую и беззаботную.

Что-то я уже тогда знал об Африке. Больше из разговоров взрослых. Знал, что там живут негры и еще невиданные диковинные звери — слоны, обезьяны, гиены, львы, тигры. Интересно, участвуют ли эти звери в войне и на чьей они стороне? Я спросил об этом дядю Сашу, ведь я его считал очень умным, самым умным из взрослых. Он не сразу понял мой вопрос. Потом засмеялся... Звери в войне — нет, они слишком умные, умнее людей.

А тетя Анюта, дама очень глубокомысленная, в нашем городе известная акушерка, в ответ на вопрос маленького

мальчика — кто же сильнее, буры или англичане, ответила восторженно:

— Не важно, кто сильнее, важно, кто культурнее!

Теперь я и бегу к маме, чтобы она ответила на этот мучающий меня вопрос.

— Да,— сказала мама.— Англичане очень культурный народ. Там высокая техника, наука, совершенный государственный строй... Многому у англичан можно учиться.

— А буры? — И тут я почувствовал, что моя образованная мама не имеет ясного представления о культуре буров. А ведь маму все уважают. Она учительница, и много у нас бывает почитающих ее учеников.

Так я и не узнал у мамы толком о бурах и их культуре.

Тут вмешался дядя Саша.

— Рано тебе разбираться в этих делах. Вырастешь — поймешь.

Так часто говорят взрослые. Считают себя очень умными, а иногда не могут ответить на самый простой вопрос...

ЦАРАПАЮЩЕЕ СЛОВО

Не знаю, как это вышло, но новая война, как будто бы более близкая, прошла для меня незаметно. Может быть, потому, что я болел. Вот когда я выздоровел, оказалось, что все говорят только о войне. Мы воюем с японцами. Что это за японцы, я не знал. Живут они, говорят, на каком-то острове, желтые, как китайцы, но кос не носят. Зато у них странные живописные костюмы.

Я опять видел парад войск у нас на площади, видел даже, как везли пушки, и очень их боялся. А вот японцы не боятся. Говорят, они бьют наших. Как это происходит, я не мог понять.

Была пасха, люди радовались, христосовались, дарили друг другу писанки, даже не замечали, что вода капает с крыш.

И вдруг во время этого праздника ворвалось страшное, царапающее слово:

Цусима.

И все становились печальными, злыми. Что это значило, я вначале не понимал, потом мне няня разъяснила, что где-то далеко за морями была большая битва, там потонули наши корабли, и погибло много наших матросов. Я очень жалел матросов.

Я эту битву видел, правда только во сне, видел страшные волны, видел, как тонули люди, просыпался в холодном поту... и плакал.

Няня меня утешала:

— Все в руках божьих.

— Так зачем же этот бог,— спрашивал я,— разрешил потопить наши корабли? Зачем позволил убить столько людей?

Няня на это не могла ответить, а меня преследовало это зловещее царапающее слово, мешало мне спать, не давало играть...

МОЯ НЯНЯ... И БОГОСЛОВСКИЕ СПОРЫ

Моя няня Анастасия Ивановна была очень набожной. В маленькой комнате ее под лестницей было много икон и всегда горели лампадки. Она здесь молилась, подолгу клала земные поклоны.

— Как же,— спрашивал я,— ты говоришь, бог един, а у тебя там много картинок и молишься ты им всем?

— Это не боги! — говорила няня.— Это святые угодники!

Но, оказывается, бог все-таки не един. Есть старый, солидный бог, в короне и с бородой, вроде царей в детских сказках. Есть совсем другой бог — молодой и красивый. Как выяснилось — сын его, Иисус Христос. И самое странное, что есть еще третий бог, в виде голубя, святой дух. А голубей часто гоняют наши мальчишки, и о святом духе они ничего не знают.

— Это единый бог,— говорила няня,— в трех лицах.

Что это значит, я не понимал. А няня моя не была

достаточно богословски образованна, чтобы мне это объяснить. Может быть, мне не поверят, что семилетний мальчик вел со своей няней такие серьезные споры. Но я не выдумываю. Я знал уже тогда, что дядя Саша, папа и мама, мои тетки относятся ко всему божественному как-то несерьезно, ни во что не верят. Не то что в детстве я потерял веру, у меня ее никогда не было.

— Бог всесилен,— говорила няня.

— Отчего же он допускает,— спрашивал я ее,— что в мире столько нехорошего, злого?

Няня говорила мне, что она хочет отрешиться от скверны мира — уйти в монастырь. Мама моя ее всячески отговаривала от этого. Рассказывала, как во время путешествия по Кавказу она встретила ново-афонского монаха. «От мира все равно не уйдешь, как ни старайся. Все это одно притворство. . .» — так говорил этот монах.

— Такая она ханжа,— характеризовали няню мои интеллигентные тетки.— Может иметь дурное влияние на ребенка.

Но мама защищала няню: она добрая, ласковая, умеет обращаться с детьми, снискать их любовь и доверие. Няня была веселой, обаятельной. Разговаривала с детьми весело и интересно, хорошо играла с нами, я очень ее любил.

Она меня стремилась приблизить к своему богу и его святым, но я противился, и тут она особой энергии не проявляла. Иногда, правда, водила меня в церковь, обычно на пасхальное богослужение. Я воспринимал его как интересное зрелище, особенно любил фонарики, с которыми приходили у нас на юге на пасху в церковь. Эти фонарики были в виде дворцов, церквей и монастырей. Видел пару раз и вертеп — кукольный религиозный театр. Но по-настоящему верующим не стал.

Получилось так, что няня наша не вняла советам моей матери и все же ушла в святую обитель. Я был очень огорчен. И как-то вышло так, что меня обвиняли в этом. А по-моему, виноват я не был, виноват был не я, а ирландская поговорка. Как это произошло — сейчас расскажу.

ИРЛАНДСКАЯ ПОГОВОРКА

Благочестивая няня наша была женщина веселая, добрая, общительная, очень любила невинные забавы, любила рядиться в диковинные наряды на святках и на масленицу. Водила меня на масленичные балаганы. И особенно она умела обманывать всех первого апреля. Не только дети, но и взрослые попадались на ее удочку. Сколько было веселья и смеху!

И надо же было мне прочесть по слогам в отрывном листке календаря: «1 апреля Иуда родился». Это, оказывается, ирландская поговорка. Кто такие эти ирландцы, я тогда даже не знал, но поспешил сообщить эту новость моей няне.

Что тут произошло, трудно описать. Няня побледнела, потом позеленела, моя добрая няня обругала меня без всякого повода, а затем побежала в свою каморку, упала на колени перед образами, неистово молилась. Настало время обеда. Няня не выходила. Мама направилась к ней и увидела, что она молится и бьет земные поклоны. Тревожить ее мама не стала.

Только на следующий день няня появилась у нас в столовой и сообщила: решение ее твердо. Она идет в святую обитель. Об этом она, оказывается, говорила с неведомым нам отцом Иоанном, и он сказал: «Пойдешь, когда настанет день!» Вот теперь день настал. Она великая грешница. Обманывала всех и, не ведая того, стала соратником христопродавца Иуды, который, как известно, дружит с самим нечистым. Мама ничего не понимала. Даже подумала — не помешалась ли бедная наша няня на религиозной почве. Мне пришлось рассказать об этой несчастной ирландской поговорке, которую я вычитал в листке календаря. Мне, конечно, за это сильно попало.

Мама еще всячески пыталась убедить няню не идти в монастырь. Поговорка — это болтовня, да и мало ли что могут написать в календаре. А ирландцы — они ведь католики, их поговорки для православных никак не обя-

зательны. Но няня была твердо уверена, что она совершила великий грех и дело здесь не в ирландцах и их поговорке. Разубедить няню не удалось. Через несколько месяцев мы приезжали к ней в монастырь. Она стала некрасивой, бледной, трудно было ее узнать. Пока считалась только послушницей, белицей, только проходила искус.

Я был очень огорчен, но ведь я совсем не знал, что эта ирландская поговорка будет иметь такие важные последствия.

А на смену няне у нас появилась фрейлейн Августа Альбертовна. Молодая немочка, веселая, живая и аппетитная, как сдобная булочка. Я ее вначале чуждался, все тосковал о моей няне. И когда она мне как-то сказала: «Лесик (так меня звали в детстве), мус ман заген «битте» (надо сказать «пожалуйста»),— я воскликнул сердито: «Ну, черт с вами, битте!» Эти мои слова почему-то очень понравились взрослым. Они стали в нашем доме почти поговоркой, уже не ирландской, а своей. Так говорили при случае и дядя Саша, и мои тетки, и даже гости нашего дома. Я даже немножко гордился; видно, такой я умный, что мои слова теперь повторяют взрослые:

«Черт с вами, битте!»

КОРАБЛИКИ

Мы играли в войну. Это была любимая детская игра того времени. Только еще погасло кровавое зарево на востоке. И наши маленькие кораблики, сделанные из газетной бумаги, носили наименования прославленных русских броненосцев и крейсеров: «Петропавловск», «Кореец», «Варяг». Но не бомбы, не гранаты, а грецкие орехи сбивали наши корабли. Совсем нестойкими были эти бумажные броненосцы.

Кузен, тоже Саша, смотрел на нас не без презрения. Он был старше нас года на три и считал себя почти взрос-

лым. Мы были приятно поражены, когда он согласился участвовать в игре со своими корабликами, японскими. Ну что ж, японскими так японскими. Совсем как в настоящей войне. Только кузен поставил одно условие: все мы на минутку должны покинуть комнату, где происходила игра. Только на минутку, не больше.

И вот выплывают корабли нашего кузена. Имена их были тогда известны из газет — «Ямарро», «Окидо», «Табо». Эти имена красовались на борту кораблей нашего кузена. Мы встретили их ореховыми залпами, но они не гнулись, не падали, стояли твердо. Что за чудеса?

Мой друг Коля раздобыл новую партию орехов. Честно говоря, стащил их в шкафу. Надо сказать, что взрослые не очень сочувственно относились к этой нашей «ореховой» войне.

Новые залпы, а корабли кузена все стоят как заколдованные. Мы стараемся изо всех сил и никаких результатов.

Скоро нашему кузену надоело возиться с детьми. Он ушел в другую комнату, где собиралась молодежь постарше.

И тут мы робко, ползком, стали пробираться к этим корабликам, как будто они на самом деле могли взорваться.

То, что мы увидели, нас огорчило, оскорбило. Бедняга Коля даже заплакал. Мы воспринимали это как предательство.

Кораблики были тщательно прибиты кнопками к паркету, больше десяти кнопок у каждого борта! Мы не понимали, откуда достал эти кнопки наш кузен и как ему удалось сделать все за то очень короткое время, когда мы уходили из комнаты.

Потом, через много лет, он стал известным профессором. Но мне все казалось, что и теперь он прибивает свои кораблики кнопками к паркету.

У АННЫ РОБЕРТОВНЫ

В домике Анны Робертовны, маленьком, белом, одноэтажном, все было очень скромно и уютно. Кремовые занавеси на окнах, цветы в разноцветных вазах на столах. Простые цветы, обычно полевые. И как будто эти цветочки кивали головками: «Мы свое дело знаем, умеем украшать жизнь людей». Весело и мило лаяла шавка Шурка. Я никогда не видел такой доброй собачонки.

Пучки трав были у стены в каждой комнате, у каждой двери. Анна Робертовна любила не только цветы, но и травы. «Здесь всегда троица»,— говорили ее гости. На троицу было принято убирать комнату травой и цветами.

Мебель здесь тоже была приветливой и гостеприимной. «Пожалуйста, садитесь, мы готовы вас принять, угодить людям,— казалось, говорили оранжевые кресла в гостиной, стулья с красной обивкой в столовой,— просим, просим...» Может быть, гений домашнего уюта поселился в комнатах этой скромной учительницы и навеки остался здесь.

Кормили у Анны Робертовны тоже просто, но как-то особенно вкусно. Хлеб из турецких пекарен, с особо загорелой корочкой. Масло подавали в виде розы, и в масле были маленькие цветы. Самое свежее вологодское масло. А овощи — огурцы, редиска — все это было как-то подобрано по цветам. Во всем чувствовался вкус хозяйки, даже в ее умении подавать завтрак.

«У Анны Робертовны каждое блюдо — натюрморт». Я тогда был еще мал и не мог оценить это остроумное замечание дяди Саши.

Но особенно ясно я почувствовал скромный уют квартиры моей учительницы, когда попал в гости к моему новому другу Мише Крашенинникову. Он уже учился в гимназии, правда в приготовительном классе, и очень гордился своей гимназической формой, особенно поясом с серебряной бляхой. Он чувствовал свое превосходство надо мной. Хоть я в то время был мал, но все же понимал, что отец

Миши, владелец небольшого красильного завода, должен быть куда богаче и моих родителей, и, конечно, скромной моей учительницы.

А какая смрадная обстановка была в доме Крашенинниковых! Огромный тяжелый шкаф загромождал большую комнату, диваны как будто проваливались, многочисленные лампадки у икон сильно дымили, воздух в комнатах был спертым, нездоровым. Особенно я удивился, когда узнал, что мой Миша спит на полу. Оказывается, детям иначе не полагалось. Кровать здесь считалась предметом роскоши. Высокой чести спать на кровати был удостоен только хозяин дома и его супруга. Сестра Миши, маленькая Катя, тоже спала на полу. А в больших сундуках и шкафах было много ковров, платья. Это, оказывается, было Катино приданое. Она была еще очень маленькой, но приданое уже готовилось вперед за много лет.

На одной из стен висели какие-то купеческие медали, значения которых я понять не мог.

Вся обстановка этого дома казалась мне тяжелой, угнетающей, почти страшной. И не без удивления я узнал, что Мишу, который так гордится своей гимназической серебряной бляхой, отец сечет, когда он попадается под тяжелую руку. Миша проговорился об этом, а потом застеснялся. Его поразило, что я удивляюсь. Как же, так полагается, так надо...

После этих не слишком удачных визитов к Крашенинниковым я особенно оценил уют квартиры Анны Робертовны. Все мне здесь казалось веселым, добрым, радостным — и цветы, и безделушки на столах, и портреты Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Комиссаржевской на стенах.

Анна Робертовна была домашней учительницей, занималась с детьми дошкольного возраста. Уроки ее были тоже добрыми и простыми, это были, скорее, не уроки, а задушевная беседа с детьми, может быть напоминавшая игру. Я незаметно постиг в этих беседах основы русской грамматики и истории, а затем и математики. Тут искусно

применялись и кубики, и другие наглядные пособия, вроде разноцветных палочек, которые позволяли знакомить со счетом, умножением, делением. Я и сейчас благодарен моей первой учительнице за ее милые, веселые, радостные уроки. И не я один. Уже в студенческие годы я встретился с одним из ее учеников.

— Вы тоже учились у Анны Робертовны? Помните, как это было славно? — говорил он.

Не помню, от кого я услышал, что Анна Робертовна была социал-демократкой. Я тогда с трудом выговаривал эти мудреные слова и совсем не понимал их значения. А оказывается, повторять их и не надо было. Когда я как-то сказал это дома, при гостях, мама меня перебила: «Не надо болтать лишнего». Я удивился. Разве моя учительница может сделать что-то плохое, недоброе? Нет, не может, я был убежден в этом.

Уже несколько позже я увидел у Анны Робертовны листочки, напечатанные на прозрачной бумаге. Ее сын гимназист Лева сказал, что это дело серьезное, не для детей, и чтобы я постарался об этом забыть. Лева был гимназистом восьмого класса. Он всегда носил очки, увлекался математикой и стал через много лет профессором математики. Он любил гулять со мной и объяснять, где, как и что происходит в городе.

Был торжественный «табельный» день. Так назывались тогда те дни, когда праздновалось рождение кого-либо из особ царской фамилии. У входа в городской сад горели плошки и красовались вензеля, которые я прочитал как АШ и НП.

Я удивленно спросил Леву, почему после А здесь следует Ш, будто бы вопреки русской азбуке.

— Нет,— сказал Лева,— азбука здесь ни при чем. Слыхал, может быть: «А и Б играли на трубе, А упало, Б пропало, только И осталось»? То же скоро будет и с Н.

Я не сразу понял эту не очень мудрую аллегорию.

— Говорят, А действительно играл на трубе (теперь

его уже нет в живых), а у Н и на это ума не хватает. Александр — миротворец, Николай — виноторговец.

— Разве царь торгует вином?

— Еще как торгует, ввел винную монополию. Кроме царя, продавать вино не разрешают никому.

«Монопольками» назывались винные лавки на углах. Там всегда было много пьяных, приличным мальчикам к ним даже близко подходить не полагалось.

Я видел много портретов царской семьи. Сам царь в парадном мундире, царица с жемчужным ожерельем, аккуратные барышни — царские дочки. Подумать только! Такой причесанный, приглаженный царь — и вдруг торгует вином! Кто бы мог подумать...

В ЭТОТ ХМУРЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Мама уже давно обещала отпустить меня к Анне Робертовне одного, без провожатых. Жила Анна Робертовна от нас близко, в каких-нибудь четырех кварталах.

Это был серый октябрьский день, но день какой-то особый, непохожий на другие. К нам все приходили соседи, о чем-то расспрашивали маму. Из окна я видел, что на улице собираются кучки людей.

Мама неожиданно для меня сказала:

— Беги к Анне Робертовне, только захвати газету, покажи, что здесь написано...

Я быстро пробежал эти четыре квартала. У Анны Робертовны были в гостях ее приятели. Она сказала, что уроков сегодня не будет.

Оказывается, Анна Робертовна хорошо знала, что написано в газете, которую я принес. Там «манифест». Я тогда не понимал значения этого слова.

— Неужели твоя мама,— удивлялась Анна Робертовна,— может верить царским подаркам? Царь дал «свободы» со страха. А придет время, он их отберет.

Я никогда не видел мою учительницу такой гневной. Видно, она очень не любила царя.

— Иди домой и скажи маме, что нельзя верить царским обещаниям. Уж кому-кому, а ей это не к лицу.

Дома я застал дядю Сашу и тетю Анюту. Они тоже ругали бедную маму. Я даже ее пожалел.

— Поверила царским посулам! — говорили они в один голос.— А еще учительница, передовая интеллигентка. Нельзя быть такой наивной!

Мама была расстроена и, когда дядя Саша предложил взять меня с собой, увести к нему домой, к моему удивлению, согласилась. Только попросила быть осторожным, оберегать меня. В такой день всякое может быть.

Дядя Саша жил далеко, на окраине города, около тюрьмы. Мы поехали к нему на извозчике. Но, не доехав до дома, он извозчика отпустил.

— Погуляем немножко,— сказал он,— подойдем к тюрьме, может быть увидим нашего Григория. Говорят, будут отпускать политических.

Мы подошли к тюрьме...

У ТЮРЬМЫ

Я бывал не раз у дяди Саши и проходил площадь около тюрьмы. Это была большая пустынная площадь, по бокам ее — балки, заросшие крапивой. Я боялся тюрьмы, думал о ней с ужасом.

Там за решетками сидят люди, и им никуда нельзя уйти. Я даже видел эти решетки и головы людей.

О тюрьме мне рассказывали. Я знал, что там сидят разные люди: очень плохие — те, что убивают и грабят, и очень хорошие — те, что борются за свободу. Хотят, чтоб людям лучше жилось.

Я узнавал со страхом, что в тюрьму попадали некоторые наши знакомые. Я даже плакал, когда узнал, что увели туда дядю Ваню. Добрый дядя Ваня, я так его любил. Он мне подарил игрушечную железную дорогу. Правда, она скоро испортилась, но это ничего.

А Григорий, тот самый, о котором говорил дядя Саша,

был студентом, человеком еще молодым и очень веселым. Замечательно рассказывал всякие истории и сказки. Носил он черную косоворотку и пенсне, с ним всегда было смешно.

На площади у тюрьмы уже собралось много народу. У самой тюрьмы стояли жандармы и солдаты. Жандармский офицер убеждал народ разойтись, иначе он будет принужден...

— Не посмеете! — кричали в толпе.— Такой день, царский манифест, свободы!

Дядя Саша вспомнил, что обещал маме всячески меня оберегать.

— Идем ко мне домой,— сказал он.— Что это у тебя, кровь на ноге?

— А, ерунда, крапива.

— Пусть это будет для тебя боевым крещением.

Дома у дяди Саши тоже было не очень спокойно. Заходили соседи. На улице горланили какие-то люди — «черная сотня», говорили о них.

Я обрадовался. Я видел негров только на картинке, а тут, подумайте, черные, да еще целая сотня. Я пробрался к окну (меня к нему не пускали)... и был разочарован. По улице шли обыкновенные белые люди, кажется не очень трезвые, несли портрет царя и что-то пели. Я стал считать, их было немного. Я скоро сбился со счета, во всяком случае сотни не было.

— Они вовсе не черные,— сказал я дяде.— Да их нет и сотни.

— Какой ты еще глупый! — ответил дядя.— Однако сегодняшний день все же запомни.

Это был хмурый осенний день 17 октября.

В ДЕКАБРЕ

Когда тебе всего восемь лет и ты неожиданно оказываешься далеко от дома, все здесь хорошо запоминается. Я до сих пор отчетливо помню каждый уголок в скромной

квартире, где мы жили в декабре 1905 года. Помню маленькие комнаты, скосившиеся стулья, почти провалившиеся диваны. Помню побеленные стены вместо обоев, и особенно запомнил я вечно коптившие керосиновые лампы. В своей квартире мы уже привыкли к электрическому освещению.

Наша квартира в те дни по воле моего отца была занята боевой организацией студентов-кавказцев. Я видел только одного из этих кавказцев, он приходил к отцу по каким-то делам. Меня поразила его красная черкеска с газырями. Я расспрашивал отца, все ли эти студенты ходят в таких черкесках.

Я чувствовал, что отец недоволен. Как выяснилось, эти студенты, именовавшие себя эсерами-максималистами, занимались мелкими экспроприациями. Когда началось рабочее восстание, они в боевых действиях участия почти не принимали.

Все же наша квартира была обстреляна казаками, а заодно были ограблены две комнаты в нижнем этаже. Когда мы вернулись домой, был произведен ремонт, но три пули, застрявшие в книжном шкафу, отец не велел трогать, они сохранились как память об этих революционных днях, и отец любил показывать их знакомым. После против отца даже было возбуждено политическое дело. Мы уезжали в Швейцарию на несколько месяцев, и опытный адвокат, друг нашей семьи, добился того, что дело это было прекращено.

Война с далеких маньчжурских полей пришла к нам, в наш мирный город. Рабочие-дружинники заняли поселок у вокзала, а затем самый вокзал и прилегающие к нему кварталы. Там у вокзала находились две роты уфимского полка. Но они отошли, отказались стрелять «по своим». Я видел этих солдат. Некоторые из них проходили по той улице, где я теперь жил. Их встречали восторженно, угощали водкой, пирогами, сладостями. Они запевали старую песню: «Наши жены — ружья заряжены». Но «жен» уже

не было: солдат успели разоружить, и многие из них понесли тяжелые наказания.

На смену солдатам были направлены казачьи части, верные царскому режиму. Артиллерийские орудия обстреливали рабочие предместья. А рабочие-дружинники были слабо вооружены, больше револьверами и охотничьими ружьями. Была у рабочих еще маленькая пушечка, которую смастерил (вместе с ядрами к ней) самоучка-механик. И на пушечные залпы она отвечала довольно энергично.

Все же силы были явно неравными. Рабочие-дружинники были принуждены оставить свои позиции, отойти за реку и там рассеяться в степи. Потом выяснилось, что таково было решение авторитетных партийных организаций.

Хозяин квартиры, где мы тогда временно жили, был военным врачом. Как-то его не было весь день дома в разгар боев в городе, и, конечно, семья его очень волновалась. Он явился поздно, в странном наряде. Поверх его военного мундира была натянута самая что ни на есть штатская шуба, к тому же явно не на его рост. Он срочно занял эту шубу у кого-то из своих друзей. Ему приходилось оказывать медицинскую помощь не только раненым казакам, но и дружинникам (это уже по собственной инициативе). В районах города, занятых дружинниками, штатских пропускали беспрепятственно, а там, где властвовали казаки, действовали строгие законы военного времени. Тут уже ему приходилось шубу снимать и щеголять в своем военном мундире. По его словам, когда он ехал в шубе на извозчике, в него стал целиться пьяный казак. Врач распахнул шубу, под которой был мундир, и закричал:

— Смотри, в кого стреляешь!

Не знаю, было ли это в действительности, но рассказал он об этом увлекательно и красочно.

Пробрался к нам, в нашу новую квартиру, дорогой наш дядя Саша. Ох и ругал он и папу, и маму!

— Вот,— говорил он,— любили революцию, мечтали о

революции, играли в революцию, а когда она пришла, скрываетесь в чужих квартирах!

Папа заметил, что и его не видно среди дружинников и бойцов.

Дядя Саша очень рассердился и закричал:

— Я тоже мерзавец, стал гнилым интеллигентом, не лучше других!

Когда-то, еще до поступления в Институт инженеров путей сообщения, дядя Саша был помощником машиниста, в те дни он попал в какую-то аварию, у него был поврежден большой палец левой руки. Он гордился своим рабочим прошлым.

Эту беседу я не выдумал. Я ее тогда действительно слышал и хорошо запомнил. Она характерна для интеллигентских настроений тех лет.

А с маленькой пушечкой я тоже встретился через многие, многие годы. Она стояла на возвышении в местном музее революции. Давно уже умер талантливый механик-самоучка, ее создатель. Но рабочие ее сохранили как память о событиях 1905 года.

Я рассказал об этой пушечке в одной из газетных статей.

ДЯДЯ ВУПА И ЕГО ЧЕРТИ

Осип Павлович кое-как разбирался только в печатных буквах. Писать не умел. Был почти неграмотным. И несмотря на это, очень интеллигентные люди любили с ним беседовать.

«На редкость оригинальный человек. Интересный собеседник. Я это говорю без всякой скидки»,— эти слова принадлежат Ольге Леонардовне Книппер, которая много позже жила в нашей семье и хорошо знала Осипа Павловича. А надо думать, немало интересных людей были известны прославленной артистке, вдове великого писателя.

«В нем живет неустанное стремление русского народа к

правде» — так говорил об Осипе Павловиче один из друзей нашего дома, который считал себя социал-демократом.

По профессии Осип Павлович был истопником. Топил печи в нашей квартире и в квартирах других старших служащих, живших в домах при мельнице, где директором был мой отец. Топил печи, как полагалось на юге, углем.

В каждом деле бывают самородки, виртуозы, художники. Таким виртуозом и художником-истопником был Осип Павлович. Я любил наблюдать за его работой. Порой, когда печь прогорала и оставалась только груда красных углей, там можно было увидеть пейзажи и всякие другие картинки. Требовалось только воображение. Но его у детей достаточно.

До пятнадцати сект сменил Осип Павлович, но все же оставался неудовлетворенным. Моей матери он как-то сказал, что ищет бога для совести и народа. По-видимому, такого бога он найти никак не мог. Особенно ненавидел Осип Павлович официальную господствующую православную церковь. Называл православные церкви капищами, а священнослужителей «об-жрецами». Когда у нас еще жила Анастасия Ивановна, она никак не могла понять, что за человек Осип Павлович, что он ищет и какой бог ему требуется. А когда Осип Павлович узнал, что Анастасия Ивановна собирается в монастырь, ох и задал он ей!

— Во мрак идешь, в поганство, во смрад!

Был у Осипа Павловича природный мужицкий ум. И какая-то странная путаница понятий. В боевые дни 1905 года он заявил моей матери:

— По-моему, все равно, что царь, что студент,— лишь бы народу хорошо жилось.

— Какой студент? — удивилась моя мать.

Оказывается, Осип Павлович краем уха слышал о высоком звании президента (тогда предполагалась буржуазная республика с президентом во главе). Знал он, что студенты теперь бунтуют. Выступают против царя. И он решил, что они намерены выбрать на место царя своего

студента. Разубедить его было невозможно. Он был уверен в этом.

С детьми Осип Павлович всегда разговаривал очень серьезно, пожалуй серьезнее, чем со взрослыми. По-видимому, за это его дети очень любили. Ну как можно было не любить нашего дорогого «дядю Вупу»!

Со мной он тоже рассуждал о разных верах и о жизни. И за это я его очень уважал.

Не то чтоб я был в это время сознательным безбожником, но бог казался мне понятием неясным и не занимал особого места в моем сознании. Когда я сказал дяде Вупе, что папа и мама, и дядя Саша, и другие умные, образованные люди сами в бога не верят и даже, мне кажется, немного смеются над теми, кто верует, Осип Павлович укоризненно покачал головой. Но когда я попытался сказать, что не только бога, но и черта, вероятно, нет, тут дядя Вупа возмутился не на шутку. Как нет, когда чертенята под ногами ворочаются?!

Меня умиляло отношение дяди Вупы к чертям. Он относился к ним как к домашним животным. Был у дяди Вупы даже специальный хлыст для дрессировки чертенят. Когда я был совсем маленьким, дядя Вупа показывал мне зеленых чертиков в печке, он мастерил их из угля, а я пугался и плакал. Потом я понял, что это чертики ненастоящие.

Не то чтоб дядя Вупа был пьяницей, никогда он не осмелился бы прийти в дом выпивши. Но и трезвенником он не был. В одной из тех сект, к которым он, по его выражению «приблудился», надо было быть абсолютно трезвым. Его это никак не удовлетворяло.

— Не для русского человека это! — говорил он.

Каюсь... Дядя Вупа впервые меня познакомил со вкусом водки еще в самом нежном моем возрасте. Правда, давал только пробовать, только чуть-чуть... Но все же давал. Конечно, мои родители не имели никакого представления об этих «пробах».

Однажды дядя Вупа пригласил меня к себе на имени-

ны. Дома никого не было, и я пошел к дяде Вупе с большим удовольствием.

Какой интересный народ был у дяди Вупы! Совсем не похожий на тот, который собирался у нас в доме. Особенно мне понравился дядя Яша, такой толстый, с бородой, веселый, болтливый. Он был извозчиком, и пролетка его стояла здесь же во дворе.

Хотя дядя Вупа был очень «весел», он все же понимал, что держать здесь мальчика долго нельзя, а то могут выйти всякие неприятности. За это дело взялся дядя Яша. Но, видно, и он, и сам Осип Павлович уже как-то не очень соображали. Ведь все-таки именины...

И вместо нашего дома мы приехали в какой-то чужой, подъехали к халупе, где нас встретили с восторгом. Как выяснилось потом, мы прибыли к «адвентистам седьмого дня». Они хорошо знали дядю Вупу. Эти адвентисты тоже не прочь были приложиться к бутылке. Ведь неизвестно, когда еще будет этот самый «седьмой день» (что-то вроде Страшного суда) и как его лучше встретить, трезвым или пьяным. Одним словом, здесь продолжалось наше пиршество. Дядя Вупа был очень весел, обнимал меня, целовал.

— Смотри, смотри! — кричал он.

И тут я увидел то, чего не видел никогда и, вероятно, не увижу вновь, хотя бы мне пришлось жить добрую сотню лет. Маленький зеленый чертик, такой изящный, как на картинке, с крошечным хвостиком пробежал по столу и прыгнул на скамейку, а затем исчез. Он был похож на тех чертиков, которых когда-то показывал дядя Вупа в печке. И таких же милых зеленых чертей любил изображать мой взрослый кузен, который учился живописи в Париже.

Я упал со стула и лишился чувств.

Дома была паника: пропал мальчик. В конце концов разузнали, что меня увел Осип Павлович на свои именины. Один из сослуживцев отца пошел к нему, а потом добрался и до адвентистов. Привез меня совсем больным. У меня

была сильная инфлюэнца (так звали раньше нынешний грипп), и я пролежал больным более месяца.

По словам дяди Саши, мой отец, всегда такой спокойный и сдержанный, на этот раз рассердился и разбушевался. «Я его, мерзавца, рассчитаю, предам суду»,— кричал он.

Вскоре прибыло к нам до полдюжины моих теток. Все интеллигентные, некоторые даже, как говорили тогда, «причастные» к революции — акушерка, провизор, библиотекарша, медсестра... Все они почти хором укоряли мою бедную маму: недосмотрела, а еще учительница, педагог. Доверила милого мальчика пьяному мужику! Правда, все они еще недавно уважали Осипа Павловича и любили беседовать с ним, но теперь об этом предпочитали не вспоминать.

В конце концов Осипа Павловича не рассчитали и, уж конечно, не предали суду, но следили за тем, чтобы он теперь не общался с детьми. Скоро я стал забывать дядю Вупу.

Так я лишился своего лучшего друга детских лет. И все из-за маленького зеленого чертика.

ГИМНАЗИЯ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Теперь я учусь (как говорили тогда — воспитываюсь) в гимназии Николая Павловича. Это частная гимназия со всеми правами. Ее директор (он же хозяин) — очень популярный в нашем городе педагог. Его статьи по вопросам воспитания даже иногда печатаются на страницах столичных журналов.

Это была гимназия не какая-нибудь рядовая, нет. Это была гимназия с ярко выраженной либеральной репутацией. Таких тогда было немного. Учились в ней преимущественно дети высококвалифицированных, сравнительно зажиточных интеллигентов. Они очень уважали Николая Павловича и охотно платили, как тогда говорили, «за право учения» примерно в три раза больше, чем в соседних

«казенных» гимназиях. Бывало здесь немало и иногородних, родители которых не хотели доверить своих детей «затрапезным» прогимназиям маленьких городов. Для них был устроен пансион в особом доме при гимназии. Там хорошо кормили, был сравнительно свободный режим. Я никогда не слыхал жалоб на нравы этого пансиона со стороны приезжих гимназистов.

К чести нашего директора следует сказать, что он не слишком придерживался так называемой процентной нормы, обычно находил легальные пути, чтобы ее как-то обойти. За это ему, говорят, попадало от попечителя округа, но нет худа без добра. Это создавало Николаю Павловичу популярность среди передовых интеллигентов.

В классе Николай Павлович порой выглядел громовержцем. А особенно когда распекал учащихся за всякие их проступки. Правда, делал это он не очень резко, не грубо, по-видимому педагогически умело, остроумно. Ведь знали, что он был человеком добрым, даже содержал на свои средства некоторых нуждающихся учеников. И потому мы не только уважали, но и любили нашего директора и совершенно искренне приветствовали его, когда он получил высокий чин действительного статского советника. Это был чин штатского генерала, дававший его носителю, а также его детям и внукам потомственное дворянство.

Правда, в домашней обстановке, среди людей, которым он доверял, Николай Павлович порой высказывал почти крамольные мысли. Я это узнал от отца, который не раз у общих знакомых играл в карты с нашим директором. Николай Павлович особенно резко осуждал так называемый «внешкольный надзор». Считал его нелепым и оскорбительным для учащихся. По мнению Николая Павловича, этот надзор нисколько не способствует улучшению нравственности гимназистов, скорее наоборот. Против внешкольного надзора он даже пытался высказываться в печати, на страницах педагогических журналов. Но «внешкольный надзор» был утвержден соответствующими инстанциями,

был законом, и наш законопослушный либеральный педагог был принужден этому закону подчиняться.

Что же такое этот «внешкольный надзор»? Много крови портил он бедным гимназистам. Без особого письменного разрешения инспектора (которое давалось не очень охотно) бедный гимназист не мог тогда посещать не только балы и спектакли, но и публичные лекции. Нельзя было гулять по главной улице города. Там гимназиста могли соблазнить девицы вольного поведения. Гимназист должен был быть всегда одет в форму, обязательно должен был носить крахмальные воротники и манжеты, а это доставляло милым мальчикам немалые страдания. В стенах нашей гимназии это, правда, не очень соблюдалось. Но, например, в театре это было обязательным.

Для наблюдения за всем этим существовали специальные надзиратели (их обычно называли «педелями»). Автор этих строк вместе с другими гимназистами раз совершил преступление, и виновником этого преступления был — кто вы думаете? Шекспир.

В те дни пользовался в нашем городе большим успехом спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке известного режиссера К. Марджанова.

Я долго убеждал нашего не слишком умного инспектора выдать мне разрешение на посещение спектакля.

— Это ведь не оперетта, не фарс, это Шекспир.

— Все это так,— говорил он,— но там у дам слишком фривольные туалеты.

Так разрешение и не было получено, пришлось одеться в штатский костюм. Но на мою беду меня заметил дежуривший «педель», надзиратель соседней черносотенной гимназии. И поспешил подать соответствующий рапорт моему директору. По-видимому, тут был скрытый смысл («вот к чему приводит зловредный либерализм»). Но у Николая Павловича хватило ума положить этот рапорт под сукно, и я о нем узнал много позже, когда стал уже студентом.

Преподавали в нашей гимназии по тому времени дей-

ствительно хорошо. Учителя были людьми опытными, часто даровитыми и всегда либеральных взглядов. В нашей гимназии зубрежка была исключена, и товарищи из других учебных заведений удивлялись, как мы без нее обходимся. Даже латынь (древнегреческий язык тогда уже не преподавался) наш учитель Горский преподавал увлеченно: это был человек, влюбленный в античность, восторженно цитировавший стихи Овидия, Горация, Вергилия, прозу Цезаря и Цицерона. Под его руководством мы почувствовали всю прелесть отжившего языка, а это, конечно, не всякому дано.

По-своему оригинально преподавал закон божий отец Иоанн, один из немногих тогда либеральных священников. Он главное внимание обращал на этическую сторону христианства и старался делать так, чтобы его предмет по возможности не противоречил ни физике, ни естественным наукам. Например, сотворение мира богом в семь дней он рассматривал как своеобразную символику. Каждый день здесь может означать тысячелетие.

В нашей гимназии были физические и химические кабинеты, показывалось много интересных опытов. Это было тогда в школе делом новым. Преподаватель географии и естественной истории Горожанкин устраивал многочисленные экскурсии, даже возил наших гимназистов на Алтай (я в этой экскурсии не участвовал по болезни), а также обошел с нами все сколько-нибудь интересные места в окрестностях города.

Был у нас совсем необычный учитель истории со странным именем Шалва Язонович. Он очень интересно рассказывал нам об истории Рима, от него я впервые услышал о законах классовой борьбы, об учении Карла Маркса. Его занятия прекратились внезапно. Потом выяснилось, что он был социал-демократом, ему грозил арест. Он бежал в Турцию и там случайно погиб, доверившись шарлатану, рвавшему зубы на константинопольском базаре. В результате — заражение крови и смерть.

Николай Павлович рассказывал моему отцу, что нема-

ло было у него неприятностей из-за этого преподавателя. В чем только его не обвиняли!

Русскую литературу преподавали у нас несколько человек, среди них были люди талантливые, выступавшие в прессе с критическими статьями, как Н. И. Цинговатов, которого гимназисты называли Помидором за рыжий цвет волос, и М. В. Португалов. Официальный курс литературы в гимназии кончался Тургеневым, а мы изучали Достоевского, Толстого, Чехова, даже — страшно сказать — Горького! Читали современных писателей, таких как Андреев, Куприн, а из поэтов — Бальмонта и Брюсова (Блок тогда был мало известен). Только литература изучалась так, будто она к жизни не относится, находится в стороне от жизни. Оттого гуманистическое содержание литературы, ее народность звучали приглушенно. Мы знали Белинского, Добролюбова, они были легальны, а вот о Герцене упоминали вскользь, а имя Чернышевского вообще было неизвестно гимназистам.

Да, гимназия Николая Павловича была характерна для тогдашнего буржуазного либерализма. Наука здесь была по возможности отгорожена от жизни. И все же для того времени наша гимназия была передовым учебным заведением. К чести ее создателя и новоявленного дворянина следует сказать, что в дни революции он не бежал, не эмигрировал, продолжал свою педагогическую работу, даже читал лекции в университете. Его торжественно похоронили за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. Меня тогда в городе уже давно не было.

ЗАВТРАК ФОН ФРИЧЕ

В интеллигентных семьях того времени полагалось учить детей музыке. Даже если у них не было желания и заведомо не было музыкальных способностей. Вот и я наряду с русской грамотой должен был постигать грамоту музыкальную. Слуха у меня не было никакого, и эта грамота мне давалась с огромным трудом. То, что я выучил с

трудом, я давно забыл. И скоро для меня даже самые простые ноты стали, как говорится, грамотой «китайской».

Эти почти насильственные занятия привели к тому, что я почти ненавидел музыку и, когда впоследствии стал интересоваться искусством, читать о театре, живописи, даже архитектуре, музыку как-то обходил. В нашем городе летом играло два симфонических оркестра. Я никогда их не слушал. Меня пугал гром труб и раздражал писк скрипки. Только потом, через много лет я медленно, постепенно стал подходить к самому примитивному пониманию музыкального творчества. А в детские годы я принужден был заниматься музыкальными упражнениями почти ежедневно. Сколько я ни убеждал маму, что у меня ни способностей, ни слуха нет, она оставалась непреклонной. «Конечно,— говорила она,— виртуоза из тебя не выйдет, но каждый интеллигентный человек должен хоть немного играть на рояле». Я предпочитал быть человеком неинтеллигентным.

Впоследствии я оценил слова раннего Маяковского: «И музыкант не может вытащить рук из белых зубов разъяренных клавиш!» Я был таким горе-музыкантом.

Преподавал мне музыку Оскар Оскарович фон Фриче, толстый немец в синих очках. Он считался в нашем городе образцовым преподавателем музыки, особенно для детей дошкольного и раннего школьного возраста.

В двух больших учебных комнатах стояло по два рояля. Оскар Оскарович учил одновременно четырех человек, переходя от одного инструмента к другому. Меня он ругал, говорил, что слон наступил мне на ухо, и все же продолжал меня учить. По-видимому, он считал, что, раз ему платят деньги, он это делать обязан.

В конце концов моя мать поняла, что учиться музыке мне, пожалуй, нечего. Так кончилось мое сравнительно недолгое музыкальное образование. Но для меня оно имело неожиданные последствия. Уже много лет позже, когда я учился в старших классах гимназии, я то и дело слышал странный шепот за спиной: «Это тот гимназист, который съел завтрак Оскара Оскаровича фон Фриче!» И даже поз-

же, уже в университетские годы, я не раз слышал: «Этот студент съел завтрак...» Рассказывали, что я съел завтрак, который принесли моему педагогу, весь завтрак без остатка, так что бедный Оскар Оскарович остался голодным. Подумайте, какой негодяй этот его ученик!

Оскар Оскарович был очень занят, ведь он учил сразу четырех человек, и ему приносили завтрак в те комнаты, где он занимался,— аккуратный немецкий завтрак: кофейник, накрытый большой салфеткой, бутерброды с сыром, ветчиной, кажется даже с икрой. Для приличия Оскар Оскарович предлагал своим ученикам разделить его трапезу. Конечно, полагалось отказываться. Но вышло так, что я пришел на урок голодный — все убеждал мою мать, что нечего мне заниматься музыкой, и позавтракать не успел. И, к удивлению Оскара Оскаровича, я согласился разделить его пиршество, съел, насколько я помню, два бутерброда — не больше. И вот все мое детство и значительную часть юности меня преследовал «призрак» этого несчастного завтрака!

Как мне передавали другие ученики Оскара Оскаровича, он им говорил, что учиться музыке я не могу и не желаю, а вот чужие бутерброды есть готов (видимо, мой учитель был изрядно скуп). А те, кто слышал его слова, по-видимому решили, что я съел эти несчастные бутерброды без согласия учителя, оставив его голодным. И пошло, и пошло... Сплетня тоже разыгрывается по нотам, имеет свое «форте», свое «пиано» и свой «финал». Но это, конечно, музыка не очень приятная для слуха...

Уже совсем недавно, в конце шестидесятых годов мне попалась книга, посвященная музыкальной культуре крупнейших провинциальных городов нашей страны. Я, естественно, заинтересовался тем городом, где прошло мое детство. Там упоминался Фриче, опытный преподаватель музыки для детей и молодежи. Он еще работал в двадцатых — тридцатых годах. Несомненно тот самый. Ну, подумал я, видно, съел я завтрак у уважаемого, почтенного человека.

КРАСАВИЦА ЖЕНЯ

В каждой женской гимназии была тогда первая красавица, которой гордились подруги. Была своя красавица даже в каждом классе.

Но Женя — вне конкуренции. Она считалась первой красавицей всего нашего города. Женя была гордой, недоступной, очень редко знакомилась с молодыми людьми. Если ей хотели кого-нибудь представить, она отказывалась, даже уходила разгневанная. Однажды она была с отцом в Берлинской королевской опере. Тогда в Германии был свой порядок знакомства кавалеров с барышнями, принятый даже в светском обществе. Надо было послать букет со своей визитной карточкой. Конечно, фрейлейн могла принять этот букет или отказать. В театрах и на балах были для этого особые посыльные, мальчишки, которых почему-то называли «буби». Они носили какую-то фантастическую форму.

«Буби» уже устал бегать к Жене в ложу. Она отказала тринадцати искателям знакомства. А когда «буби» принес букет от четырнадцатого, она готова была опять отказать, но тут «буби» вручил визитную карточку ее отцу. «Ну что ж,— сказал отец Жени.— Видно, придется согласиться. Неудобно, ведь мы гости королевской оперы». Оказалось, что искателем знакомства был принц, младший сын Вильгельма II.

Женя потом рассказывала своему брату, что она проскучала в присутствии его высочества весь вечер: приходилось молчать и слушать его не очень умные комплименты.

Я бывал в особняке Жениного отца. Одно время дружил с ее братом и от него слышал об этой берлинской истории.

Отец Жени был самым популярным в городе адвокатом. Его приемная особенно поражала обывателя. Там был фонтан и аквариум с золотыми рыбками. Эти золотые

рыбки почему-то привлекали особое внимание посетителей. Может быть, тогда это было что-то новое, неизвестное.

А вот через год, в Кисловодске, я неожиданно оказался «амурчиком» Жени. Только не подумайте чего-нибудь лишнего. Что такое «амурчики», я сейчас расскажу.

В те дни были распространены конкурсы красоты. Они организовывались по-разному. Иногда привлекались художники, скульпторы и особое жюри решало вопрос о первенстве. Но в других случаях (особенно на курортах, в парках) дело было организовано проще. Каждый входящий в этот парк должен был получить вместе с билетом особый жетон, который полагалось вручить избранной им красавице. Но, конечно, неудобно было, чтобы эти жетоны вручались самим красавицам. Они носили только номер, а ящички, куда клали жетоны, были в руках у мальчиков. У каждой красавицы был такой молодой кавалер. В его ящичек опускались жетоны.

Этих мальчиков называли «амурчиками». В этот день Женин амурчик куда-то исчез (не то заболел, не то ему запретили родители), и администратор кисловодского курзала, хорошо знавший мою мать, упросил ее разрешить мне занять это место.

Мы (простите, что я говорю во множественном числе) одержали блестящую победу. Женя получила больше жетонов, чем все ее конкурентки, вместе взятые.

На эстраде, когда объявили результат конкурса, оркестр заиграл туш, администратор подарил мне коробку шоколадных конфет, а красавица Женя поцеловала меня в лоб.

Больше я Женю не видел. С братом ее я поссорился и в их доме уже не бывал. А через несколько месяцев стала известна сенсационная новость, весь город об этом говорил. И особенно, конечно, было много болтовни в гимназиях, и мужских, и женских... Женя выходит замуж.

Даже много лет спустя, уже в дни нэпа некоторые ви-

ды папирос назывались «асмоловскими». Асмоловы были крупнейшие на юге табачные фабриканты и миллионеры; вот сын одного из Асмоловых должен был стать мужем Жени. Говорили, что он развратник, тиран и даже болен нехорошей болезнью.

Любви не было. Жених был вдвое старше невесты. Говорили, что Женя отказала ему, но отец настаивал, даже запер ее в темную комнату на хлеб и воду. Впрочем, может быть, это только болтали. Но во всяком случае все осуждали Жениного отца (мать ее давно умерла). Сам, мол, тоже не беден, у самого фонтан и золотые рыбки, а польстился на чужие миллионы. Загубил красавицу дочь. В мужских и женских учебных заведениях только об этом и говорили.

Ученики старших классов реального училища (так называли тогда школы без латинского языка с преимущественным преподаванием естественных наук) даже написали возмущенное письмо отцу Жени. Неизвестно только, дошло ли оно по назначению. Два романтически настроенных гимназиста из «казенной» гимназии (то есть гимназии государственной) решили похитить Женю. Они проникли под видом клиентов в дом ее отца, но тут выяснилось, что Жени в этом особняке уже нет. По-видимому, отец ее боялся лишних пересудов и скандалов. Во всяком случае, свадьба произошла не в нашем городе, а в далекой Ницце.

Затем пошли слухи, что муж тиранит Женю, бьет ее, что она от него бежала. Впрочем, точно никто ничего не знал. Ведь дело происходило на французских и итальянских курортах.

Постепенно о Жене стали забывать, затем забыли совсем. В последний раз я слышал о ней много позже, уже в 1917 году. Якобы она появилась в Нальчике и Кисловодске в компании с самим Шаляпиным. Я слышал от очевидца, утверждавшего, что около Кисловодска в «храме Воздуха» Шаляпин по ее просьбе исполнял без аккомпанемента арию Демона. Кто его знает, что тут правда. . .

НАШИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ И НАШ ГОРОДОВОЙ

В молодости, в конце XIX века, и мать и отец мои участвовали в революционном движении. Отец даже дважды был арестован. По-видимому, были они народниками достаточно умеренного толка. Подробностей я не знал — родители считали, что это не детское дело. Как это ни странно, конспирация сохранялась даже в домашней обстановке.

С годами отец отошел от активной революционной деятельности. Он стал видным инженером и директором большой паровой мельницы, принадлежащей акционерному обществу «Мукомольное дело». Мать моя, в молодости известная учительница, теперь занималась общественной деятельностью. Она была заместителем председателя местного женского клуба, организовывала курсы для сельских учительниц, а также считалась попечителем бесплатной больницы. Однако среди друзей моих родителей сохранилось много революционеров, притом разных толков.

Положение моих родителей было, как я понимаю теперь, достаточно сложным. Многие из новых друзей нашего дома были представителями местного буржуазного общества, правда обычно людьми либеральных взглядов. Приходилось приноравливаться к их вкусам и взглядам. По пятницам у нас обычно собиралась большая компания, в гостиной и столовой на втором этаже играли в карты, иногда танцевали.

А внизу, в двух маленьких комнатах, обычно жили нелегальные. Эти комнаты были удобно расположены. Двери выходили на две различные улицы, и в сад, и на двор мельницы. Можно было легко исчезнуть, если это потребуется. Но получилось так, что обыска в этих комнатах ни разу не было. А в 1915 году, когда могла возникнуть какая-то опасность в этом смысле, наши гости были переселены в другое место.

Тайну наших нижних комнат мало кто знал. Только

дядя Саша и, кажется, тетя Анюта. Не знали даже мои интеллигентные тетки. Не знала даже горничная Мотя, которая носила нашим гостям завтраки и обеды. Но она была женщиной малообразованной и, видно, считала, что там живут просто знакомые моих родителей.

Я иногда заходил в нижние комнаты, приносил туда газеты, книги, ходил по поручению наших гостей на почту, но серьезных бесед с маленьким гимназистиком наши гости избегали. А когда я начинал их расспрашивать, они отмалчивались или ограничивались шуткой. Уже через много лет, когда я как корреспондент одной из московских газет был на приеме у одного ответственного товарища, он стал всматриваться в мое лицо и спросил: «Не вы ли тот гимназистик, который когда-то оказывал мне некоторые услуги — ходил на почту и выполнял небольшие поручения?» По его словам, в нашем доме гостили тогда не только народники, но и социал-демократы. Имен их я, конечно, не знал. Об этом не полагалось спрашивать. Родители ничего о них не рассказывали.

А во дворе у мельницы дежурил городовой. Я, право, не собираюсь воспевать низших чинов царской полиции, но этот Андрей Андреевич был добродушным гигантом, надо думать, не очень высокого ума. Он был очень эффектен в своей форме, с револьвером и саблей на боку. Он очень любил детей, и у самого у него было пятеро.

Его как-то в 1905 году поставили во дворе мельницы, а потом оставили на этом посту. Он не жалел об этом. К рабочим он относился добродушно, иногда выпивал с ними. Когда один из сослуживцев отца спросил у Андрея Андреевича об его отношении к политике (за что, кстати, ему от отца попало — не следовало задавать такие вопросы), он сказал, что политика — это дело жандармское, а его обязанность смотреть за порядком. И он действительно только смотрел за порядком, иногда сопровождал пьяных и разнимал драки. Но это бывало не часто.

Довольно многочисленные клиенты, приходившие на

мельницу, обычно давали ему на чай. Все старшие служащие делали ему подарки на пасху и на рождество, и не только ему, но и его детям.

Отца Андрей Андреевич очень уважал, даже называл «благодетелем». Конечно, о жильцах наших нижних комнат он ничего не знал. Дядя Саша острил, что наш городовой поставлен для охраны наших нелегальных и честно выполняет свои обязанности.

Только, по-видимому, особо благоприятное стечение обстоятельств привело к тому, что тайна наших нижних комнат не была открыта. Дело в том, что охранка продолжала наблюдение за моими родителями, хотя они отошли от революционной деятельности. Это выяснилось в 1917 году. И особого внимания охранки была удостоена моя мать. Женский клуб, курсы сельских учительниц, бесплатная больница — все это учреждения вполне легальные, но кто его знает, что за этим могло скрываться. Мать моя даже удостоилась особой чести: к ней был приставлен одно время специальный филер. Но этот филер, надо думать, был неопытным и очень глупым. Это выяснилось из его донесений, которые в семнадцатом году принес в наш дом знакомый студент, разбиравший документы местной охранки. Ох и старался этот бедный филер! Он, например, писал о моей матери, что она на углу Старопочтовой улицы «внезапно села на извозчика». Так-таки внезапно, не предупредив своего кавалера! (Мать моя этого наблюдения не замечала). Как-то мать зашла в популярную в городе французскую кондитерскую под маркой «Сиу и К°». «Она вышла из этого магазина,— писал филер,— с неизвестным круглым предметом, завернутым в бумагу». Круглый предмет, завернутый в бумагу, конечно же, — бомба. Такой был скрытый смысл этого донесения. Но бомбы в магазине «Сиу и К°» не продавались (разве только шоколадные). Это был торт, на худой конец крендель.

«МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ШКАФ»

Был у отца в кабинете большой красивый книжный шкаф, привезенный в давние времена из Швейцарии. Он был сделан в Базеле известным мастером Рейзлером. Одним словом, «многоуважаемый шкаф».

Он не случайно привлекал мое внимание. Может быть, он был символом жизни не только нашей семьи, но всей передовой буржуазной интеллигенции того времени.

Он был своеобразным памятником 1905 года, этот шкаф. Тогда нашу квартиру обстреляли казаки. Несколько пуль застряли в шкафу, сохранены были здесь как своеобразные реликвии. Отец очень любил их показывать знакомым.

В шкафу книги стояли тремя большими рядами. Правда, видны были только два ряда, третий был засекречен, защищен особым спускающимся щитом, ключ от которого отец носил на цепочке от часов.

В первом ряду стояли роскошные издания, в основном немецкие. Я помню сочинения Гете и Шиллера, а также Шекспира в переводе Шлегеля с многочисленными иллюстрациями, часто очень выразительными. Иллюстрированный Шекспир был даже в двух совершенно различных изданиях. Более скромными выглядели русские, тоже «роскошные» книги издательства «Брокгауз и Ефрон» — сочинения Шекспира, Шиллера, Байрона, Мольера. Здесь тоже было очень много иллюстраций, и эти книги невольно привлекали мое детское внимание.

Страшно интриговали меня в то время три немецких издания «Натана Мудрого» Лессинга. Они стояли рядом. Одно большое, солидное (по-видимому, с многочисленными комментариями и статьями), другое поменьше, нормального формата, наконец третье, совсем маленькое, миниатюрное, не больше спичечной коробки. Его надо было читать с особой лупой. Я не верил, что это одно и то же сочинение. Было здесь немало изданий и по географии,

зоологии, ботанике. Помню очень живописный альбом, больше напоминавший детский кукольный театр. Он помещался в особой коробке. Надо было ее открыть, и тогда звери вставали во весь рост как живые. В детстве меня это очень увлекало.

Во втором ряду стояли книги поскромнее. Всякие немецкие издания по специальности моего отца, то есть по мельничному делу, и многочисленные собрания сочинений русских классиков в издании Маркса. Эти собрания сочинений были тогда во всех сколько-нибудь интеллигентных домах. Наш новый учитель истории, некто Щепкин (сменивший Шалву Язоновича), любил поиздеваться над невежеством гимназистов. Рассказывая о Карле Марксе, он, обратившись к гимназистам, сказал: «Только не путайте, пожалуйста, с издателем. А такая путаница бывает». И действительно, этот издатель был тогда широко популярен.

Меня, конечно, особо интересовал таинственный третий ряд, тем более что отец показывал мне его очень редко, когда бывал в хорошем настроении. «Если будет серьезный обыск,— говорил он,— то, конечно, эти книги обнаружат. У нас бывает много всякого народу, не всем можно доверять, и незачем им об этом знать». Брать книги из этого ряда мне не разрешалось, позволялось только просматривать на месте. В третьем, тайном ряду была революционная литература, книги, изданные у нас и, в основном, за рубежом. Среди них, правда, попадались полубульварные издания вроде сочинений пресловутого польского историка Валишевского или князя Долгорукова, посвященные тайнам царского двора. Вероятно, многим интересно покопаться в грязном белье, в особенности если это белье коронованных особ. Но такие издания попали сюда случайно. В большинстве здесь была серьезная революционная литература разных эпох и разных направлений. Были здесь большие комплекты «Колокола» и «Полярной звезды». Были книги Степняка-Кравчинского, Бельтова (Плеханова), Лаврова. Было много революционных брошюр и

даже отдельные комплекты листовок. Были здесь и отдельные произведения В. И. Ленина, правда больше под различными псевдонимами. Но я помню маленькую книгу «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и брошюру «Что делать?», которую я по невежеству воспринял вначале как краткое изложение знаменитого романа. Что же касается «Развития капитализма в России», то я и позже, уже в первые месяцы революции, приписывал эту книгу В. Ильину (я познакомился с ней во время занятий по политической экономии в университете, но и не подозревал, что это сочинение Ленина).

Очень удивили меня странные на первый взгляд издания. «Современник» за 1858, 1859, 1860 годы, издание Че-ского. Что это значило? Потом мне отец разъяснил, что это статьи Чернышевского, изданные его сыном. Что же касается знаменитого романа «Что делать?», то переплетены были вырезки из различных номеров «Современника», в котором печатался прославленный роман. Было как будто бы новое его издание 1905 года, но, видно, отец приобрести его не сумел.

До революции отец старательно скрывал эту имеющуюся у него в библиотеке литературу. Я читал ее только на ходу, мельком, даже роман «Что делать?» не прочел полностью. А после февральских дней этим недавно секретным третьим рядом стали слишком интересоваться старые и новые друзья отца. И он первые месяцы революции очень охотно давал читать эти книги. Они обычно не возвращались. Когда я приехал из Московского университета домой, от третьего ряда остались, как говорится, рожки да ножки. Я упрекал отца за легкомыслие, и он со мной соглашался. Но что делать, таковы были настроения так называемых «дней свободы». Держать в секрете революционную литературу он уже не мог и охотно раздаривал всем. Надо думать, пропало немало ценных книг.

ТЕБЕ, ВЕЛИКИЙ РЕКТОР

В кабинете отца стояла позолоченная скульптура. Это была Минерва, богиня мудрости. Она держала в руках какую-то окантованную бумагу, написанную золотыми буквами. Как разъяснил мне отец, это послание ректора Мюнхенского университета, называвшего себя «великим ректором», адресованное студенту, окончившему университет и уходящему в жизнь. Написано оно было по-латыни.

Когда я овладел основами латинского языка, я сумел прочесть, правда при помощи словаря, все, что здесь было написано. Отец мне переводить почему-то не хотел. Может, потому, что «великий ректор» рекомендует бывшим студентам всегда быть богобоязненными, благонравными и верноподданными, всегда подчиняться старшим и властям.

Когда я спросил отца, зачем он держит эту бумагу в кабинете, ведь он не верноподданный и не богобоязненный, он мне сказал, что она ему дорога как память о тех временах, когда он учился в германских учебных заведениях.

А он учился в Германии (отчасти в немецкой Швейцарии) свыше восьми лет. Окончил Мюнхенский университет по отделению «натуральной философии», а затем для практической работы мукомольный факультет в политехникуме в Хемнице.

В нашем городе возникали тогда паровые мельницы, а специалистов-инженеров этого профиля не было. В русских технических учебных заведениях не существовало мукомольного отделения. Отец был одним из первых инженеров этого типа и сделал карьеру, стал директором большой паровой мельницы акционерного общества «Мукомольное дело».

Отец знал жизнь и быт немецкого студенчества конца прошлого века, очень своеобразный и по-своему жестокий. В смысле преподавания философских дисциплин здесь господствовал отвлеченный идеализм, различные школы так называемого неокантианства. Философские дисциплины преподавали действительно талантливые профессора. Что-

бы слушать одного из них, отцу пришлось идти пешком из Мюнхена в Гейдельберг. Там читал лекции знаменитый Виндельбанд.

Вообще это была тогдашняя университетская традиция: тот или иной семинар студенты проводили в чужом университете, шли туда пышной гурьбой, часто пешком по дороге, распевая студенческие песни.

Порой в маленьких городах, знаменитых только своим университетом, происходили чудеса: на лавке булочника оказывалась вывеска сапожника, на лавке сапожника вывеска портного. Все это делалось ночью, незаметно, все это были невинные шутки студентов. Ремесленники и мелкие торговцы очень уважали студентов, низко им кланялись и даже первокурсников торжественно именовали «герр доктор».

Тогда еще никто не знал (это был конец прошлого века) о расовой теории в развернутом ее виде. Но уже прославлялась «белокурая бестия», уже считали себя немцы избранным народом. В немецких университетах было немало студентов-славян (не только русских, но и сербов, болгар — у них тогда еще университетов не было), а также славян австрийской империи. Их обычно немцы презирали, не принимали в студенческие объединения — «ферайны», и долго разбирался вопрос, имеют ли они право на дуэль. В конце концов это право было признано (правда, не всегда и не всюду, и то потому, что немецкие дуэлянты считали, что они непобедимы).

Целую серию анекдотов и занимательных историй из немецкой студенческой жизни рассказывал мой отец. Особенно может быть интересна история о том, как группа его старших товарищей пыталась проникнуть к «великому учителю». «Великий учитель» был, оказывается, Фридрих Ницше. В ту пору он жил в «шале», в маленьком домике в горах Швейцарии, и, видно, был уже не совсем нормален. Его поклонники отыскали его не без труда, но разговаривать со студентами он не пожелал и только зачем-то запел

петухом. Он, видно, не знал, что невольно подражает великому русскому полководцу Суворову...

В университете преподавалась идеалистическая философия и христианская мораль, но быт студентов был грубым, жестоким.

Очень тяжелым было положение первокурсников, так называемых «фуксов». Старшим студентам, «буршам», полагалось над ними всячески издеваться. Это были часто отвратительные и утонченные издевательства. В Гейдельберге один несчастный фукс не выдержал всех издевательств и повесился. Дело дошло до самого ректора университета, а ректором числился не кто иной как великий герцог Баденский, один из монархов тогдашней германской империи. И он решил, что незачем сообщать об этом в суд, нечего выносить сор из избы. Утешением фуксам могло быть то, что, перейдя на третий курс, они уже становились полноправными буршами и могли в свою очередь издеваться над новичками. Надо было дождаться этого времени. Так была построена иерархия немецких студентов. Издевательство старших над младшими.

Немало было сложных ритуалов в студенческой жизни, особенно пивной ритуал. Однажды в компании своих друзей, в моем присутствии, отец описывал эти пивные подвиги немецких студентов, эту сложную пивную церемонию. Это выглядело смешно, нелепо, но здесь тоже была своя система, здесь тоже чувствовалось превосходство старших над младшими.

Наконец, дуэли. Без дуэлей быт немецких студентов невозможен. Здоровые бурши гордились своими ранениями, это нравилось немецким барышням. Но знаменитые дуэлянты были знаменитыми трусами и любили издеваться только над теми, кто слабее и ниже их. В этом смысле интересна история, в которой моему отцу пришлось участвовать в качестве секунданта.

Дело было так. Приехал из Харькова в Гейдельберг молодой студент, красивый парень. В студенческом кафе он пококетничал с немецкой девушкой. И вдруг через все

кафе идет к нему бравый бурш со следами многочисленных дуэлей: «Вы фиксировали мою даму». И вручает ему свою визитную карточку. Тогда визитные карточки были почти у всех студентов, и харьковский коллега вручил ему свою. Окружающие его русские студенты ужаснулись: «Что вы сделали? Вы приняли вызов!» А он и понятия не имел, какое значение имел этот обмен визитными карточками. Просто думал — приятное знакомство. Отправились к некоему Иванову. Это был «вечный студент», десять лет учился он в немецких университетах, знал здесь все входы и выходы. «Есть один только способ избежать этой дуэли,— сказал он.— Так как вас вызвали, вам предстоит право выбора оружия. Пусть ваши секунданты заявят (среди этих секундантов был мой отец), что вы желаете драться на кривых турецких саблях».— «А что это такое? Мы их никогда не видели!» — «Это, собственно, и не требуется! Дело в том, что лет пятнадцать тому назад приехал сюда какой-то русский, бывший офицер Уссурийского казачьего войска. Его тоже вызвали на дуэль, он выбрал эти турецкие сабли и зарубил насмерть самого знаменитого гейдельбергского дуэлянта. Теперь они этих сабель боятся как огня».

На следующий день отец и один из его друзей отправились к секундантам немецкого дуэлянта. Когда те услышали о кривых турецких саблях, они замялись, явно испугались и просили выбрать другое оружие. Но наши секунданты настаивали на своем. Дуэль не состоялась.

Мой отец умер в Ленинграде в 1938 году. Кажется, после 1910 года он никогда не был в Германии. Но он уверял, что для него ясны корни немецкого фашизма. Это нравы немецких студенческих «ферайнов», когда-то ему хорошо знакомые. Презрение к представителям других наций, издевательство старшего над младшим, сложный и нелепый внешний ритуал. Конечно, это мнение моего отца во многом является спорным, но я думаю, что зерно истины здесь все же есть.

Особенно интересен рассказ отца о мюнхенском тайном

ферайне «древних германцев». Здесь поклонялись древнегерманским богам, исполнялись посвященные им стихи и песни. Этот ферайн был тайным. Сильное в Баварии католическое духовенство, конечно, не могло разрешить поклоняться языческим богам. Знаком этого тайного ферайна была пресловутая свастика, один из древнегерманских символов! И отец наблюдал эту свастику на одеянии немецких студентов еще в конце прошлого века. А ведь в Мюнхене началась карьера Гитлера и всей его своры. В литературе о фашизме я никогда не встречал указаний на ферайн «древних германцев». Но по сообщениям моего отца он в свое время существовал в Мюнхене (хоть и тайно) и пользовался большим влиянием в реакционных кругах баварской столицы. Так еще задолго до господства фашизма в Германии велась военная пропаганда и возвеличивание войны. С этим я сам встретился в юные гимназические годы и об этом расскажу подробней несколько позже.

ПО АЛЛЕЯМ КИСЛОВОДСКОГО ПАРКА

Я часто встречал этого низенького уродливого старика. Он всегда ходил вооруженный большой суковатой палкой. Как один из героев «Бесприданницы» Островского, он, видно, считал, что никто не достоин беседы с ним. Перед ним расступались с почтением. Слишком сильно было обаяние его миллионов. А их было у него немало.

Это был Муса Нагиев. Бакинский сверхмиллионер. Король нефти.

Я тогда не знал высказывания Карла Маркса о том, что золото меняет все в жизни. Обращает зло в добро, уродство в красоту. Но я наблюдал эти метаморфозы на практике. Мусу очень уважали в Кисловодске, даже считали, что он делает честь курорту, посетив его. И, конечно, не замечали, что он стар, уродлив, противен.

Я случайно подслушал разговор двух дам, к тому же достаточно интимный. Они на маленького гимназистика,

сидевшего рядом на скамейке, видно, не обращали никакого внимания.

Одна дама была из светского общества. Другая была артистка какой-то провинциальной оперетты. Одним словом, «дама просто приятная и дама, приятная во всех отношениях», правда, уже в новом варианте начала XX века. Надо сказать, что на курорте часто дружили представительницы разных слоев общества. Бывало и так, что, вернувшись домой, они не узнавали своих старых курортных друзей, там уже были другие условия жизни.

И вот светская дама, «приятная во всех отношениях», доверительно сообщила своей знакомой, что она не против выйти замуж за Мусу Нагиева, только, конечно, законным браком. Дела ее родителей недостаточно благоприятны, и ей надо сделать хорошую партию. «Я познакомилась с этим Нагиевым, он был очарователен, хотя не сказал ни слова. Но, кажется, я его пленила...» — «Милая Аннета! — воскликнула ее приятельница. Мне показалось, что она возмущена.— Как вы можете об этом думать! Вас замучает этот злой старик. Недавно судили другого бакинского миллионера, Тагиева, он избивал свою жену, тиранил свою семью. Его защищал знаменитый адвокат Маклаков, и многие друзья этого адвоката даже прекратили с ним знакомство».

Вот, подумал я, здравый взгляд. Но то, что я услышал дальше, меня вконец убило.

«Я бы тоже,— сказала артистка,— согласилась провести с ним ночь, но только ночь, не больше. Надеюсь, это не имело бы для меня дурных последствий, а после он бы меня обеспечил, подарил бы тысяч пятьдесят-семьдесят. Говорят, что это для него все равно, что для нас гривенник. А потом я бы забыла эту страшную ночь и жила бы в свое удовольствие. Бросила бы сцену, может быть, не знаю... Во всяком случае, не зависела бы от произвола антрепренеров».

Я не придумал эту беседу. Я слышал ее собственными ушами. Красавицы не обратили внимания на маленького

гимназистика, а он был потрясен. У него было возвыш... ное представление о любви и о браке.

В кисловодском парке порой встречались люди очень разные, которые вряд ли могли быть в приятельских отношениях в других условиях. Среди знакомых моей матери появился... архиепископ.

«Владыка» оказался человеком веселым, живым, умелым собеседником. В это время в нашей семье обсуждался вопрос о моей дальнейшей судьбе, о том, где мне учиться после окончания гимназии.

— Пусть ваш сын выберет духовную карьеру,— сказал архиепископ.— Это я вам говорю вполне серьезно. У нас сейчас мало интеллигентных людей и становится все меньше. Интеллигентская публика относится к нам с недоверием, а духовная карьера наиболее легкая, да и выгодная. Правда, для занятия высших духовных постов необходимо пройти монашеский «искус». Но пусть это вас не пугает. Это только видимость.

На замечание моей матери, что происхождение моего отца никак не может способствовать духовной карьере его сына, «владыка» заявил, что это неважно, это даже лучше. Он берется помочь в этом деле. У матери создалось впечатление, что сам он не очень верит в своего бога. Слишком уж легкомысленно относился он к «ангельскому чину». Так официально называлось тогда монашество.

В духовной академии в то время преподавал знаменитый Ключевский. Рассказывали, что на официальном выпускном вечере он так обратился к выпускникам академии, из которых только часть приняла монашество:

— Вы, принявшие чин ангельский, и вы, сохранившие лик человеческий!

Бывало и такое. Однажды хозяйка соседней дачи в Кисловодске, Мария Ивановна, прибежала к моей матери восторженная и в то же время испуганная. Она хотела сдать всю дачу в одни руки, чтобы не возиться с мелкими нанимателями. И вот ей предлагают, что дачу снимет, представьте себе... замечательный человек, его высочество

эмир бухарский! За деньгами он, конечно, не постоит. У него дворец в Железноводске, но он хочет провести сезон у нас...

Эмир бухарский был восточный самодержец в Средней Азии, находящейся в вассальной зависимости от русского императора. Я видел потом этого самого эмира. Он сидел в кресле на балконе среди цветов и читал газету. Меня поразил его костюм: русский генеральский мундир и на него наброшен пышный восточный халат.

Как-то эмир пригласил Марию Ивановну, хотел даже сказать какие-то комплименты, пробовал и по-французски, и по-русски, но у него ничего не выходило. Она простояла испуганная, и ей пришлось откланяться.

— Он идиот, этот твой эмир,— сказала моя мать.— Это давно всем известно. Его отправили в Англию в Кембридж, но там даже специалисты по дефективным детям отказались его лечить и воспитывать. Говорят, как-то раз в Петербурге он торжественно приехал в Мариинский театр слушать оперу. Все стараются выяснить, что ему понравилось больше всего. Долго не могли понять. Оказывается, когда настраивали инструменты перед увертюрой.

Видел я раз, как эмир пожаловал в парк в пышном восточном одеянии, со свитой. Оркестр сыграл туш, все встали. Только и было разговоров, что об этом. А я-то знал, что «король голый», как в андерсеновской сказке. По вечерам люди из свиты эмира приставали к барышням. Особенно отличался один из них, маленький, горбатый. Говорили, что это министр двора и что он вербует русских девиц в гарем эмира.

Были в кисловодском парке и совсем другие кумиры. На этот раз общее внимание к ним привлекали не деньги и не власть, а талант и красота.

Они были очень красивы и обаятельны, знаменитые артисты, завсегдатаи кисловодских летних сезонов, Василий Иванович Качалов и прославленный тенор Дмитрий Смирнов. Оба были исключительно талантливы, каждый, конечно, в своей области. Талант Качалова был глубоким, про-

никновенным и мудрым, Дмитрий Смирнов тоже был замечательным артистом. Голос его чаровал. Когда он пел, не хотелось, чтобы кончалась ария. Это было не только мое впечатление, об этом говорили многие взрослые опытные слушатели.

На сцене он был исключительно красив, замечательно носил исторические костюмы, прекрасно изображал знаменитых романтических любовников — Ромео, Вертера, кавалера де Грие («Манон Леско»), а также Ленского, герцога в «Риголетто». В музыкальных кругах много тогда спорили, у кого лучше голос — у него или у Собинова. Были даже среди поклонниц особые отряды «собинисток» и «смирновисток».

Но к чему соревнование талантов? Каждому свое. Правда, бывали и соревнования, например в Ницце — на исполнение партии Надира в опере Бизе «Искатели жемчуга». Дмитрий Смирнов занял здесь первое место, победив знаменитого Карузо.

По-разному относились знаменитые артисты к своим поклонницам. Качалов обычно убегал, исчезал. А Дмитрий Смирнов считал себя властителем дум и чувств. Он всегда был окружен толпой, с удовольствием принимал цветы и подарки.

Летом 1916 года, когда он последний раз был в Кисловодске, после утреннего концерта его провожала на вокзал большая толпа. Почему-то он уехал на паровозе, и этот паровоз был украшен цветами.

Через много лет, когда Качалов стал бывать в доме моих родителей, я заговорил о том времени, когда он был властителем дум в кисловодском парке. Он посмотрел на меня, как мне показалось, сердито, был немного смущен. Мать сделала мне замечание.

Дмитрий Смирнов еще до октября уехал за границу, потом дважды приезжал в Советский Союз, уже как француз-гастролер. Он умер в Дании в 1947 году и завещал похоронить себя в Псково-Печерском монастыре. Он

был, оказывается, из тех краев. Там похоронены его родители.

Я был в том же году в этом монастыре. Это была экскурсия из эстонского курорта Выру. В экскурсии принимали участие некоторые актеры ленинградского Театра комедии. Монах-расстрига, заведующий библиотекой монастыря, рассказал мне: «Совсем недавно скромно, на дрогах, привезли прах — кого вы думаете? Знаменитого тенора Дмитрия Смирнова, когда-то известного во всем мире. Я и сам в молодости был светским молодым человеком и поклонником его таланта. Я один проводил его в последний путь».

Мы подошли к свежей могиле в подземелье монастыря, на ней еще не было надписи. Положили цветы, постояли некоторое время в молчании.

«Так проходит слава мира»,— говорит старинная поговорка.

В ГЕРМАНИИ

«Япанише криг, япанише криг,— издевались над нами немецкие гимназисты,— какое поражение, какой позор!» Я вначале даже не понимал, что за «испанская» война. Оказалось, не испанская, а японская.

Прошло семь лет со времени этой войны. Для нас она уже была далеким прошлым. Мы, русские гимназисты, особенно воспитанные в интеллигентных семьях с более или менее передовыми взглядами, не воспринимали эту войну как поражение русского народа. Мы знали, что война была затеяна царской властью, велась неумело и бездарно, народ понес тяжелые жертвы. Недаром прямым следствием этой войны были революционные события 1905 года. Не очень политически образованны были мы тогда, но это все же понимали.

В нашей либеральной гимназии об этой несчастной войне предпочитали не вспоминать даже на уроках истории. В официальном гимназическом учебнике о ней тоже не бы-

ло ни слова. И только в конце учебника упоминалось о «нынешнем благополучном царствии Николая II». Эти слова официального учебника вызывали у нас насмешку. Но как все это объяснить патриотически настроенным немецким гимназистам? Все они были влюблены в своего кайзера и считали, что мы тоже обязаны обожать Николая II. Его поражение — это наше поражение. Его несчастье — это наш позор.

О России вообще эти германские мальчики знали немного. Это, мол, большая, по-своему богатая страна, но страна некультурная, дикая. Если там и есть ка́кие-то зачатки культуры, то их, конечно, принесли немцы.

Немецкие гимназисты очень уважали Екатерину Великую за то, что она была не только русской императрицей, а в первую очередь немецкой принцессой. А если «Петер дер Гроссе» пожелал как-то воспитать свой народ, то он отправился за знаниями, за культурой, за наукой, конечно, в Германию. Не в Голландию, не в Англию, а именно в Германию. Так, оказывается, учили в немецких гимназиях.

Мы, русские гимназисты, о прошлых войнах успели позабыть. Немецкие гимназисты не только были патриотически настроены. Они мечтали о будущих подвигах, о будущей войне. Недобрым огоньком загорались их глаза, когда они воспевали эту войну будущего.

Только здесь, на песчаном пляже детского курорта Кольберг (теперь Колибеж в Польше), я начал понимать, что война действительно может быть, и, вероятно, даже скоро. Ведь немецкие подростки о войне только и мечтают. Значит, их так воспитывают. Откуда же взялась у них эта поэзия войны?

Еще до Кольберга мы с матерью побывали в ряде немецких городов — не только в Берлине, но и в Магдебурге, Галле, Дрездене. Всюду мы только и слышали о военных парадах. На одном из них в Магдебурге нам случилось присутствовать. Такие парады, правда, бывали и у нас в России, но о них мало знали и редко кто их посещал: это дело военных, и только. А здесь во время парадов все

становились почти одержимыми. Закрывались магазины, рестораны. Все немцы кричали «хох» или пели: «Дейче юбер аллес». Благовоспитанного немецкого бюргера трудно было узнать. Куда девались его мнимое приличие и благородство!

Во всех городах, которые мы проезжали, были памятники жертвам франко-прусской войны, которая происходила давно, более сорока лет назад. Эти памятники всегда были украшены цветами. И каждый добрый немец, проходивший мимо памятника, обязательно снимал шляпу и низко кланялся. Еще до приезда в Кольберг я начал понимать, что в Германии весь народ готовится к войне, тренируется на войну.

А в Кольберге мой новый друг Фридрих, гимназист из Киля, мальчик вежливый, воспитанный и приятный, не только рассказывал мне о будущей войне. Он рисовал палкой на песке чертежи будущих битв и побед. Вот немецкая армия громит Францию, побеждает ее в две недели. Фридрих точно знал срок. А потом в какой-нибудь месяц расправляется с Россией (это был пресловутый план Шлиффена в популярном изложении тринадцатилетнего гимназиста). А после войны Германия становится величайшей страной мира. Всем диктует свою волю. Англия ей уступает добровольно значительную часть колоний...

Во всем этом Фридрих был твердо уверен, и война представлялась ему приятной прогулкой под музыку, вроде того парада, который мы видели в Магдебурге.

О России мой друг имел очень туманное представление. Там страшный холод и по улицам бродят медведи. Я пытался ему возражать. Холода, конечно, бывают, но не так часто, и не во всех концах страны. А что касается медведей, они у нас в клетках, в зверинцах и зоологических садах. Никому не приходит в голову пускать их гулять по улице.

Да что там Фридрих, еще мальчик, может быть, неразумный. Знакомый моей матери, солидный адвокат из Дармштадта, человек очень образованный, считавший себя

свободомыслящим, хорошо знавший и философию, и искусство, и литературу (к удивлению матери даже русскую),— и он был поражен, когда ему сообщили, что в нашем городе ходят трамваи, есть телефоны, электрическое освещение. Он явно этому не верил, все переспрашивал, уточнял. Почему-то укоренилось тогда в сознании немцев представление о России как о дикой стране, о русских как о людях некультурных и примитивных. Бывал, оказывается, этот адвокат и во Франции. Считал французов народом легкомысленным, несерьезным. Нет у них, говорил он, настоящего порядка, поезда опаздывают, на вокзалах грязно. По-видимому, страной настоящего порядка он считал только Германию.

Тогда еще расовая теория только возникала. Однако рядовой немец был вполне подготовлен к ее восприятию — так его воспитывали, учили.

Однажды мать послала меня в детскую купальню за бельем. Она дала мне марку. Я должен был заплатить пятьдесят пфеннигов за выстиранное белье, и на полученную сдачу мне было разрешено полакомиться «головой негра». Это было вкусное пирожное (крем в шоколаде) в виде негритянской головы. По-видимому, отзвуки расовой теории проникли даже в мирное кондитерское дело. Ведь не назвали бы пирожное «головой немца», даже «головой англичанина», а негры — кто с ними считается. В немецких увеселительных садах были тогда даже целые негритянские деревни, помещались они за загородками, и немецкие офицеры бросали неграм булки, совсем так, как кормят в зверинцах обезьянку или медведя. Одну из таких негритянских деревень я видел незадолго до поездки в Кольберг в берлинском Луна-парке.

Увы, полакомиться «головой негра» на этот раз мне не пришлось. Толстый немец, вручивший мне белье, заявил безапелляционно: «Пятьдесят пфеннигов за белье, а пятьдесят мне». Я пробовал протестовать, он пробурчал: «Русские свиньи». По-видимому, этот немец переборщил, недаром от него разило пивом. На курортах обслуживающему

персоналу надлежало быть вежливыми с представителями всех наций.

Мы были не одни, дело происходило в детской купальне, там немало было почтенных фрау и детей — и никто не поднял голос в мою защиту. Я ушел из этой детской купальни оскорбленный и обиженный.

Немецкие гимназисты все-таки с нами общались, ходили на спортивные соревнования, играли в теннис, в крокет, но далеко не все. Некоторые относились к нашим друзьям укоризненно. Даже Фридрих жаловался: его обвиняют в том, что он дружит с русскими, это непатриотично. Что же касается немецких фрейлейн, они вообще не считали возможным разговаривать с русскими гимназистами. Если в компании были барышни и мы подходили к своим немецким знакомым, они немедленно прощались и уходили.

Фридрих мне объяснил, что немецким девицам не полагается знакомиться с иностранцами, это считается недопустимым, даже неприличным.

Ну что ж, у каждого народа свое понятие о приличии, и с этим приходится мириться...

•

АВСТРИЙСКИЙ ГИМНАЗИСТ

У немецких гимназистов не было формы. Только фуражка, напоминающая корпорантскую, с особыми цветами для каждой гимназии. Но летом эти фуражки редко кто носил.

Но зато я любовался формой австрийских гимназистов, подданных его апостолического величества Франца-Иосифа, императора Австрии и короля Венгрии. Это была очень красивая форма. С ней невольно связывались какие-то романтические представления, может быть потому, что эта форма была введена еще в сороковых годах прошлого века.

Представьте себе высокую шляпу с тульей, развевающийся плащ, много золотых и серебряных нашивок. Эф-

фектная форма. Некоторые гимназисты старших классов даже носили шпаги.

В Кольберге было немало австрийских гимназистов, в большинстве это были поляки и чехи. С ними сговориться можно было без особого труда, но нас, русских, они в большинстве своем избегали.

Мое особое внимание привлек один австрийский гимназист. Он часто стоял у моря рядом с большой скалой. Это была его любимая поза. Мне он почему-то напоминал героев Байрона, которого я только недавно прочел. Был он очень красив.

Я решил подойти и представиться. Он оказался сербом и понимал немного по-русски, даже учился русскому языку. Потом он мне читал стихи Пушкина и Лермонтова, не всегда, правда, верно ставя ударения, но я был очень доволен, что этот австрийский гимназист знает великих русских поэтов. Мне все казалось, что он хочет мне сказать что-то важное, но не решается. И только при второй встрече он обратился ко мне, причем достаточно резко и гневно:

— Как не стыдно вам,— сказал он,— русским гимназистам, дружить с этими проклятыми швабами! Их должны презирать мы, славяне.— Я очень удивился и тут только начал понимать, отчего нас избегают австрийские гимназисты.— Ведь перед нами,— говорил мне мой новый знакомый,— великое будущее. Славянство спасет мир, погрязший в скверне и гордыне, мир купли и продажи, мир мелких торгашей. Мы должны постичь эту идею и бороться за нее. Вы читали Бакунина? — спросил он меня.

Я смутился. Несколько брошюр знаменитого анархиста были в третьем ряду нашего уважаемого шкафа, но особого моего внимания они не привлекли.

— Это, кажется, известный анархист? — сказал я.

— Да, но он тоже боролся за славянскую идею!

Странное впечатление произвела на меня эта беседа. То немцы считают себя избранным народом, теперь романтически настроенный австрийский гимназист предлагает

бороться за славянское единство, предлагает презирать немцев, мечтает растоптать их. Разные слова, но, право, схожие мысли. Я был огорчен, запутан, не знал, как во всем этом разобраться.

Встреча с этим австрийским гимназистом произвела на меня большое впечатление.

Через два дня он уезжал. Я со своим приятелем Шурой (оказывается, они тоже были знакомы) пришел его провожать, мы принесли полевые цветы. Он был чем-то расстроен и в то же время, мне кажется, доволен, что его провожают русские гимназисты. Он с нами говорил о торжестве славянской идеи и даже намекал на тайные общества, которые должны эту идею осуществить, говорил о том, что, может, придется прибегать к исключительным мерам, к террору.

...И уже когда он стоял на площадке вагона, мы спросили его имя. И тут он сказал несколько слов, смутивших наш покой по крайней мере на двадцать лет:

— Принцип, Казимир Принцип. Сербский патриот. Вы мое имя еще услышите.

Мы услышали это имя через два года: оно стало известно во всем мире.

Я далеко не уверен, что австрийский гимназист, которого мы провожали, и убийца эрцгерцога Франца-Фердинанда, невольный виновник первой мировой войны, одно и то же лицо.

Через много лет я беседовал на эту тему с солидным советским историком, написавшим большой труд о Сараевском убийстве.

— Нет,— сказал он,— по-видимому, не тот. Фамилия Принцип в Боснии была широко распространена. После убийства эрцгерцога многие отрекались от этой фамилии. К тому же биография Принципа-убийцы очень хорошо изучена, и как будто бы он в Германии никогда не бывал. И имя совсем другое. Правда, там, в Боснии, не только католики, но и православные имели по нескольку имен...

И несмотря на это мой спутник Шура, ставший со вре-

менем крупным советским ученым, твердо был уверен, что мы провожали в Кольберге «настоящего» Принципа.

— Историки,— говорил он,— так часто ошибаются. А это интуиция.

Вероятно, все же другой. Но этот другой находился под влиянием схожих идей. Славянское единство, да еще влияние Бакунина, наконец влечение к терроризму, участие в тайных обществах... Пусть это другой, но, по-видимому, очень похожий.

ЦАРИ

Много тогда говорили о коронованных особах, разные о них ходили легенды и сплетни. Приходилось слышать, что стоит только увидеть такую особу — и будешь счастлив чуть ли не на всю жизнь. Таково уж свойство этих «помазанников».

Я видел трех коронованных особ, и все же прожил жизнь не очень счастливо. Может быть, так сложились обстоятельства, и коронованные особы не виноваты. Трудно сейчас разобраться в этом.

Еще за несколько лет до Кольберга мы ездили с матерью в Германию, и в Дрездене я лицезрел германского императора и короля прусского Вильгельма II. Правда, видел его недолго. Он проехал стоя в автомобиле (как говорили тогда — электрическом) по территории Всемирной гигиенической выставки. Он отдавал честь верному народу, а бюргеры неистовствовали. Они орали «хох» и «виват» во всю глотку. Наверное, некоторые из них охрипли.

Я запомнил деланную улыбку кайзера и закрученные вверх усы. И еще каску с белыми перьями, развевающийся по ветру оранжевый плащ. В общем, это была фигура по-своему эффектная и даже величественная, не только в представлении маленького мальчика, но и великовозрастных подданных, которые всегда говорили о своем кайзере с дрожью в голосе, с восторгом.

Видно, он неплохо играл свою роль великого монарха,

но не доиграл. Привел империю к военному поражению и революции...

И в том же году я встретил здесь другого монарха, правда рангом пониже, даже стоял рядом с ним и слушал его беседу (очень краткую) с моими друзьями. Это был саксонский король.

Теперь уже мало кто, кроме историков-специалистов, знает государственную структуру тогдашней германской империи. Она состояла из двадцати пяти государств. Король прусский был императором Германии, но было и три других королевства, затем великие герцогства, просто герцогства, вольные города. Все это были особые государства, со своим монархом, со своим парламентом, как будто бы автономные в местных делах. Правда, их права постепенно сокращались в пользу центральной власти.

Мы жили в Дрездене у одного дальнего родственника, даровитого музыканта, который был тогда капельмейстером королевской оперы. Его особняк был расположен в королевском саду. В этот день у меня был в гостях старый товарищ по гимназии Боря и мой новый друг Коля, самарский гимназист. Играли мы в теннис, площадка была расположена почти у нашего дома.

И вдруг бегут немецкие подростки, восторженно крича: «Дер геник комт!» В Саксонии это слово произносилось с придыханием, выходило не «кениг», а «геник», и оттого саксонского короля называли «геником».

А затем к теннисной площадке подошли два человека, один — очень картинный генерал, весь увешанный орденами, другой — совсем невзрачный, рыженький, в пыльнике. И только черная палка с монограммами в его руках (тогда это было модно) привлекала внимание.

Мы были вызваны в будочку около площадки. Невзрачный господин обратился к Коле с вопросом:

— Зи зинд руссен?

— Я.

— Аус вельхем штадт?

— Аус Самара.

— Самара — дас ист ам Вольга?
— Я.
— Унд зи?
— Аус Ростов.
— Ростов — даст ист ам Дон.
Затем они попрощались с нами и продолжали прогулку. А по аллее уже бежали к нам немецкие мальчишки, по-видимому они считали неудобным слушать беседу своего короля с иностранцами и отошли в сторону.
— Вас дер геник хат гезагт?
Я несколько удивленно обратился к старшим моим друзьям:
— Король ведь ничего не говорил!
— Как не говорил?! Ведь этот рыженький в пыльнике и был король. А генерал с орденами —по-видимому, кто-то из его свиты.
Так я ошибся. Не признал коронованную особу. Все же я был тогда очень молод.
Коля, мальчик веселый и живой, сказал:
— Надо обязательно записать нашу беседу с королем для будущей немецкой хрестоматии. Подумайте, какое знание географии! Самара ист ам Вольга!
Уже много позже, в дни войны, в начале 1915 года, я имел честь видеть Николая II, императора всероссийского, и прочее, и прочее.
Директор гимназии Николай Павлович пришел в наш класс немного возбужденный.
— Если государь обратится к кому-либо из вас, надо ответить и добавить обязательно «ваше императорское величество». Ну, прорепетируем! — сказал он.
Не очень подходило это слово к мнимо торжественной обстановке. Что он может у нас спросить?
— Из какой вы гимназии? — Из частной гимназии с правами, ваше императорское величество!
— Сколько в ней учащихся? — Около четырехсот, ваше императорское величество.
Мне казалось, что наш директор репетирует это не

слишком серьезно, без должного уважения к царю. Да и в городе к приезду царя относились как-то безразлично. Что-то не слышно было восторженных слов по адресу обожаемого монарха. Время было трудное, начиналось большое отступление на фронте, напряженная обстановка была и в тылу.

Нас привели на вокзал очень рано, около восьми часов утра. Мы стояли и мерзли. Здесь были ученики мужских гимназий и реальных училищ. Вокруг нас несколько рядов казаков с пиками, в парадной форме. Пики были украшены трехцветными флажками. А иного народа не было видно. Вокзал был украшен цветами, цветочными вензелями, на перроне лежали ковры.

Только около десяти часов подошел царский поезд. Два оркестра заиграли «Боже, царя храни». Царь проследовал мимо меня, очень близко (я стоял в первом ряду). Я обратил внимание на восковые его глаза и недовольное выражение лица. Он казался маленьким, невзрачным, особенно рядом с войсковым атаманом Покатило, бравым, картинным генералом. Я даже вспомнил саксонского короля и его спутника.

Конечно, с гимназистами царь не беседовал, даже не смотрел в их сторону. Напрасно старался Николай Павлович.

Дядя Саша в те дни был секретарем Владикавказской железной дороги. Начальник дороги сопровождал царя, он ехал в царском поезде до одной из станций. И вдруг приходит в управление дороги странная телеграмма. Оказывается, надлежит выслать в царский поезд недавно вышедшее «Руководство для стрелочников», брошюру, изданную дорогой,— как можно больше экземпляров и немедленно. Никто не понимал, зачем понадобилась эта брошюра, никто вслух не говорил, но все служащие смеялись. «Неужели царь решил избрать новую профессию, более соответствующую его способностям и уму?» Так было написано на всех лицах. Но сказать, конечно, боялись.

Оказывается, поезд где-то задержался — не успели пе-

редать жезл. Тогда это было обязательно при отправлении железнодорожного состава. Царь в беседе с начальником дороги заинтересовался техникой этого дела и спросил: «Может быть, это где-нибудь популярным образом написано?» В результате — почти паническая телеграмма, развеселившая всех сотрудников управления дороги.

Вечером мой приятель, гимназист Бородовский, мальчик умный и сообразительный, сказал:

— По-видимому, это ошибка. Не надо было показывать народу такого царя. Сразу видно — ничтожество. Так, может, не знают, а увидят — поймут. Война, тяжелое время. По-моему, он долго на престоле не удержится. Полетит вверх тормашками, может быть, даже в этом году.

Он ошибся, но ошибся ненамного, на какие-то полтора года с лишним.

НА АРЕНЕ И В ВОЗДУХЕ

В нашей гимназии учили по тому времени хорошо, но очень отвлеченно. Казалось, наука — это одно, а жизнь — совсем что-то иное. О том, что происходит на белом свете, гимназисты знали преимущественно из газет, которые читали иногда даже старательно, но больше интересовались судебной хроникой и всякими сплетнями, которых в тогдашней прессе бывало немало. Политические вопросы почти не интересовали гимназистов. Общественная жизнь их не волновала. Странно, когда в 1911 году был убит Столыпин, помню, что это убийство оживленно обсуждалось гимназистами, а позже такие события, как Ленский расстрел, мало были ими замечены. Новый подъем рабочего движения тоже прошел мимо них.

Я часто бывал в те дни у Анны Робертовны, теперь уже не как ученик, а как гость. Я читал у нее газеты, старую «Правду» и меньшевистский «Луч». Не совсем понимал, почему социал-демократы спорят между собой.

Но хоть мои родители отошли от активной революционной работы, в нашей квартире жили нелегальные, и кое-

какие сведения о революционной борьбе у меня все же были. А мои товарищи по гимназии, как выяснилось, не имели об этом представления. Даже газета «Правда» не была им известна. В газетных киосках ведь она не продавалась. Вряд ли кто-нибудь из учащихся нашей по тому времени передовой, либеральной гимназии состоял в революционной организации, занят был подпольной работой.

Не очень широки и многообразны были интересы тогдашних гимназистов. Массовое увлечение искусством характерно было для самых последних предреволюционных лет, когда я был уже студентом. В театры гимназисты, правда, ходили, но спектакли довольно хорошего нашего театра не вызывали ни восторгов, ни споров. Техника тоже мало волновала гимназистов, я не помню даже увлечения шахматами или спортом. Но был один вид спорта (если его можно только назвать спортом), который вдохновлял, вызывал энтузиазм,— это была французская борьба, процветавшая тогда в цирках. Только и разговоров было в гимназии о достоинствах того или иного борца, о том, кто победит в очередной схватке, о масках черных и красных.

Увлечение борьбой было всеобщим, от людей малограмотных до утонченных интеллигентов (как известно, даже Блок пишет о своем увлечении французской борьбой).

Это было зрелище действительно эффектное, даже красивое, когда боролись легковесы, такие как Лурих, Клементий Буль, а главное, поставленное очень умело. Основная задача была захватить публику, увлечь ее, держать в напряжении. Обычно первая схватка между сколько-нибудь известными борцами продолжалась двадцать минут и кончалась вничью. Решительная схватка продолжалась минут сорок, и тоже обычно результат не был достигнут. Потом, если один из борцов терпел поражение, он обычно это обжаловал, и победа признавалась недействительной. Путали дело и маски. Борец должен был снять маску только при поражении. Изо дня в день умело поставленный чемпионат все больше и больше захватывал публику. Чувствовалось, что здесь много ловкого мошенничества, и

сколько-нибудь умные зрители это отлично знали, но все же было интересно. Это я наблюдал и у своих товарищей-гимназистов. Нет, они не верили, что все в этих чемпионатах серьезно, но были захвачены борьбой, ждали разрешения целого ряда загадок.

Через много лет, уже во время Великой Отечественной войны, я познакомился и даже почти подружился с пожилым уже тогда человеком. Это был один из популярнейших людей старой царской России, знаменитый арбитр (по существу, режиссер) цирковых чемпионатов И. Лебедев (дядя Ваня). Теперь он скромно числился помощником режиссера Свердловской эстрады.

Вот, подумал я, теперь я узнаю все тайны цирковой борьбы. Но эти тайны знаменитый дядя Ваня так мне и не открыл. Историки цирка считают, что цирковая борьба существовала и до дяди Вани, но именно он придал ей особенную красочность, придумал международные чемпионаты, парад борцов, показ приемов,— вообще он был, по-видимому, талантливым режиссером борьбы и недаром считался создателем этого циркового жанра. У него появилось много подражателей, некоторые из арбитров тоже назывались «дядями» — дядя Пуд, дядя Саша и др.

Дядя Ваня в общем не отрицал, что многое во французской борьбе было «поставлено».

— Нужно понимать, это ведь зрелище,— говорил он,— а у зрелища свои законы.

Но в другой раз он сказал:

— В моих чемпионатах участвовали люди, которые вошли в историю атлетического спорта, такие как Поддубный, Вахтуров, Шемякин, Заикин. Каждый из них ценил свое спортивное имя и не согласился бы лечь ни за какие деньги.

Одним словом, я понял, что цирковая французская борьба была делом сложным, чаще всего здесь не обходилось без мошенничества, но в отдельных случаях администрации приходилось идти на уступки тому или иному популярному атлету.

Постепенно увлечение борьбой стало угасать среди гимназистов. На смену ему шло, может быть более серьезное, увлечение авиацией. Еще до первых полетов в нашем городе я видел книги и альбомы, посвященные авиации, в руках моих товарищей-гимназистов. С полетами в нашем городе как-то не очень получалось. Целый ряд популярных авиаторов (инженер Гейне, Михайлов, Кузьмин) терпели у нас аварии. Я видел только полет Кузьмина. Аэроплан подскочил и упал на левое крыло. Авиатор сильно ударил левую руку. Затем приехал к нам Уточкин, знаменитый Уточкин. Но и его полет оказался в нашем городе неудачным, правда он поднялся выше других, но тоже упал, аэроплан был слегка поврежден, авиатор как будто бы не пострадал. Когда к нам приехал Г. Габер-Влынский, с успехом летавший в соседних городах, к нему на ипподром прибыл сам градоначальник, по-видимому не очень умный генерал.

— Как я вам дам разрешение на полет? — сказал он.— Все у нас какие-то неудачи, может быть, у нас воздух не подходит для полетов, слишком пыльно и душно.

Авиатор предложил покатать его превосходительство по воздуху. Генерал перетрусил, но его адъютант согласился и пролетел два круга. Авиатор доставил адъютанта прямо к тому месту, где сидел градоначальник, к трибунам ипподрома (особого аэродрома тогда еще не было).

Обо всем этом прославленный авиатор рассказал моей матери. Я очень удивился, увидев его у нас дома. А дело, по которому он пришел к матери, было серьезным и тяжелым. Выяснилось, что он с успехом выступает во многих городах, его антрепренеры загребают деньги (вход на полет был платный), а ему платят гроши. Оказалось что его аппарат «Фарман», на котором он летает,— собственность этих ловких предпринимателей, и они его всячески эксплуатируют. Он слышал, что моя мать имеет знакомства среди местных благотворителей, и просил ее помочь выкупить этот аппарат. Говорил, что он вернет постепенно деньги. Это и было сделано, правда не без труда, и деньги были

им в конце концов возвращены. Характерная история из времен ранней русской авиации.

Габер-Влынский действительно показывал чудеса по представлениям того времени: полет с двумя-тремя пассажирами, планирующий спуск, скольжение на крыле и другие сенсационные номера.

Учитывая интерес гимназистов к авиации, Николай Павлович, директор нашей гимназии, решил познакомить нас с основами авиации, так сказать, в научном плане. Но выяснилось, что никому из наших преподавателей поручить это дело нельзя, они сами еще не знакомы с основами авиации.

Когда в наш город приехал известный в то время авиатор И. Ефимов, он согласился прочесть лекцию для гимназистов старших классов нашей гимназии. Мы торжественно идем на ипподром, окружаем там аппарат (маленький «Блерио»), знакомимся с ним. Каким хрупким казался тогда аэроплан, его реи, его полотно! Кажется, дунешь на него — и он упадет. Авиатор рассказывает, показывая все детали, не все мы понимаем, но гордимся этим прямым соприкосновением с авиацией. Кроме гимназистов собрались неизвестные нам люди, они тоже хотели узнать все об авиации. И вот после лекции было предложено всем отойти несколько в сторону. Аэроплан пробежал по ипподрому и поднялся в воздух. Все торжествовали. Какой-то хорошо одетый господин (как выяснилось, член местной городской думы) торжественно закричал:

— Ура, мы летим, мы завоевали воздух!

Я вспомнил крыловское «мы пахали».

Аэроплан Ефимова поднялся в воздух и скоро исчез, на ипподром он не вернулся. Все очень волновались. Потом сообщили, что он благополучно приземлился на соседней поляне. Возвращаться на ипподром он боялся. Собралось слишком много народу, и там можно было на кого-нибудь наскочить. Такова была тогдашняя авиация.

Еще за несколько месяцев до этого мы как-то ехали с матерью на извозчике к знакомым, которые жили в рай-

оне ипподрома. Мы впервые увидели летящий аэроплан Это был «Фарман» Габер-Влынского, пробный его полет. Старый бородатый извозчик, по-видимому философ по натуре, сказал:

— Всякое придумывает хитрый человек. Вот теперь летать научился. А чтоб всем людям лучше жилось — пока не придумал!

БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

«Будьте благонадежны»,— так говорил дядя Саша, выпивая рюмку водки. Я долго не знал, какую важную роль играет свидетельство о благонадежности в Российской империи. Без такого свидетельства, выданного полицией, не принимали в высшее учебное заведение и на государственную службу. Нельзя было даже открыть небольшое предприятие. Оказывается, хозяин самой маленькой, затрапезной лавочки, где продавали веревки и гвозди, должен был быть благонадежным, иначе нельзя.

— Надо теперь раздобыть свидетельство о благонадежности, не то не попадешь в университет,— говорил мой отец.— Теперь как будто бы создались благоприятные условия для этого. Пристав соседнего участка интересуется нашей мукой.

Мука мельницы, где директором был мой отец, была популярной в городе, а особенно высшие сорта, из которых пекли куличи и сдобы.

— В первый раз,— сказал отец,— отправляюсь в полицию как проситель, бывал там раньше в другом качестве. Конечно, противно, но чего не сделаешь ради родного сына...

Меня удивила та подобострастность, с которой встретил нас хозяин полицейского управления. Даже прикидывался либералом и сообщал по секрету, что намерен установить в участке какие-то швейцарские порядки. Он, оказывается, знал, что мой отец жил одно время в Швейцарии.

Сделка была вскоре заключена, и мы ехали домой уже со свидетельством о благонадежности. Недаром говорили, что этот полицейский «вполне порядочный человек».

«Порядочными» и «приличными» людьми считались тогда те полицейские и те чиновники, у которых за взятку, по возможности скорую, легкую, можно было всего добиться. Иногда взятка бралась «борзыми щенками». Часто приходилось слышать, что это, мол, человек хороший, он «берет» и людей не мучает.

Тех же, кто взятку не брал, ругали, считали хитрецами и притворщиками, они, мол, набивают цену, кто их знает, как с ними обращаться. Их ненавидели, боялись и, конечно, не верили, что чиновник может совсем взяток не брать. Просто мерзавец хитрит. Еще Салтыков смеялся над такими «бессребрениками». Мало что изменилось с тех времен...

Тех же, кто брал взятку скромно, тихо, считаясь с возможностями «клиента», брал «по чину», как говорил еще гоголевский городничий, тех уважали, они, мол, люди хорошие. И это без всякого юмора...

«Наука имеет много гитик»,— говорит старая семинарская пословица. Наука брать взятки тоже была сложной, тонко разработанной. Подчас ни к чему не придерешься. Никакая ревизия ничего не откроет. Был, например, в Москве полицейский чиновник довольно высокого ранга, заместитель полицмейстера города. Мне случилось знать его вдову. Она уже в нэповские времена давала обеды студентам. Ее мужа считали очень хорошим человеком. Евреи, не имевшие права жительства, неплохо чувствовали себя под его высокой рукой. Он брал с них взятки? Да что вы! И мысли об этом не было. Он только играл по воскресеньям в карты с представителями еврейской общины. Представьте себе, всегда выигрывал. Наверное, он слово такое знал. Выигрывал он больше, чем получал жалованья от царского правительства. Но кто скажет о нем что-либо плохое? Это был «вполне порядочный человек».

При фабриках и заводах в те годы обычно состояли на

жалованье чины полиции и те чиновники, с которыми приходилось постоянно иметь дело фабриканту или дирекции предприятия. Так было удобнее, а то вести с ними переговоры каждый раз... Некоторые чиновники умудрялись получать несколько таких «зарплат» помимо официальной.

Конечно, это были «благородные», «уважаемые», «благонадежные во всех смыслах» люди.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В кисловодском парке я часто встречал нестарого, вполне благообразного священника. Это был по-своему знаменитый отец Алексей, настоятель православной церкви в Ессентуках.

Вряд ли кто из миссионеров добился таких успехов в распространении православия. И все же Синоду или консистории он не угодил, и в конце концов ему предложено было «снять сан».

Он окрестил свыше двух тысяч еврейских юношей, которые съезжались к нему со всех концов страны, даже, говорят, из Сибири. Его деятельность происходила на курорте: здесь обилие приезжих никого не удивит.

Своим очень изящным почерком он вносил поправку в паспорт: «Зачеркнутому «иудейское» вписанному «православное» верить», подпись, церковная печать. Этого было достаточно для поступления в высшее учебное заведение. Не требовалось ни изучения катехизиса, ни погружения в купель. Часто он даже не видел своих клиентов. Ему приносили десять — пятнадцать паспортов, которые он исправлял оптом. И брал сравнительно недорого. Ну что там пятьдесят рублей с человека! Считал себя покровителем юношества. А если молодой человек особенно нуждался, даже делал уступку.

Моему приятелю, талантливому музыканту, который часто услаждал его слух (представьте себе, отец Алексей любил музыку, в доме у него был рояль, и он, бывало, сетовал, что напрасно духовенству запрещено посещать

оперы и светские концерты),— так вот этому музыканту он сказал: «Меньше тридцати никак нельзя. Ведь приходится все-таки кривить душой». Но в общем отец Алексей был человек добрый, и его «клиенты» были им вполне довольны.

В Ессентуках процветал отец Алексей. А в Таганрог ездили к Алексею Неблеру люди различных вероисповеданий, уж очень любящие жизнь. Правда, дело Неблера расцвело несколько позже, когда началась первая империалистическая война.

Официально у Неблера был склад дров. Небольшая контора с вывеской, и несколько дровишек декоративно лежали у окна. Но на самом деле он занимался совсем другими, гораздо более серьезными операциями. Была у него твердо установленная такса: триста — год отсрочки, пятьсот — белый билет. В зависимости от обстоятельств он рекомендовал тот или другой вариант. И часто жаловался: «Вы говорите — дорого, а ведь мне приходится делиться не только с врачами, но и со всеми чиновниками присутствия». По тогдашним законам можно было отбывать призыв на военную службу в том месте, где заставал тебя указ о мобилизации. Этим пользовался Неблер.

Он узнавал об указе еще до того, как об этом становилось известно из газет. Вообще его предприятие было поставлено солидно, умело, даже с ручательством. Бывало, бедные мальчики сидят полуголые в воинском присутствии, дрожат, волнуются... и вот открывается потайная дверь и появляется Неблер, как всегда одетый с иголочки, с каким-то фантастическим розовым галстуком. И все повеселели: все будет в порядке, шито-крыто, как полагается в солидном деле.

В Кисловодске многие знали Алексея Васильевича Сабурова. Это был известный екатеринославский хирург, кажется солидный и умелый врач, но «состояние» его, то есть небольшой капитал, возник в результате особых операций, так сказать, деликатного свойства. Вступая в соревнование с самой природой, он восстанавливал девичью невинность.

Что сказать! Время было такое — война, легкие нравы, и сохранился еще семейный деспотизм. Сложен был семейный быт тех времен. «Соблазненные» девушки охотно делились с доктором последними деньгами. Их будущие женихи и мужья, конечно, не имели об этом никакого понятия. Как выяснилось, эта операция довольно старая. О ней говорится в новелле Сервантеса «Подставная тетка». Но с тех пор прошло несколько сотен лет, и медицина, конечно, усовершенствовалась. Во времена Сервантеса это была сложная и мучительная операция. А наш доктор делал ее очень умело, быстро и совсем безболезненно.

Да, поистине странные занятия были у некоторых подданных русского царя в последние годы существования империи! Даже знаменитый английский писатель Честертон, автор книги «Клуб необычайных профессий», таких бы не придумал.

МОЯ ИСПОВЕДЬ

И вдруг перед самым окончанием гимназии выяснилось, что для поступления в университет кроме благонадежности требуется свидетельство об исповеди. Среди знакомых моих родителей духовных лиц в это время не было. В нашей семье в бога не верили, как-то обходились без него. Проще всего казалось обратиться к нашему преподавателю закона божьего, к либеральному священнику отцу Иоанну. Но, как на грех, он был недоволен мною. Он пытался как-то примирить богословие с естественной историей, концы с концами у него не сходились, и я попытался ему возражать. Он был недоволен и обижен. При таких условиях обращаться к нему я считал неудобным. Отец обещал найти покладистого священника, но не нашел. Пришлось обратиться к нашему приходскому священнику Покровской церкви, отцу Никанору. Говорили, что он человек добрый, любит молодежь, только не чужд некоторых мирских пороков — порой выпивает.

И вот я в церкви. Положил, как полагается, рубль в

кружку. Священник накладывает на меня епитрахиль, и я чувствую себя как лошадь в упряжке. Священник садится рядом со мной, и меня удивляют его слова:

— Знаю, сын мой, что тебе не исповедь нужна, важно свидетельство для аттестата.

Я промолчал.

— Грешен ли, сын мой, против седьмой заповеди?

Седьмая заповедь — это «не прелюбы сотвори». Но что делать, если семнадцатилетний юноша по этой части действительно безгрешен? Правда, он уже читал «Половой вопрос» Фореля и одну из книг начинавшего входить в моду Фрейда, иногда влюблялся в барышень, но это были невинные увлечения.

— Безгрешен,— говорю.

— Грешен ли против седьмой заповеди? — повторяет он.

— Безгрешен, я уже вам сказал.

Как будто бы он мне не верит. И в третий раз:

— Грешен ли против седьмой?

По-видимому, необычайная для меня обстановка и странное упорство священника привели к тому, что я совсем разнервничался, не выдержал, заплакал. Я уже считал себя взрослым, и мне было стыдно этих слез. Как смеялись потом дядя Саша и некоторые мои товарищи, когда я им честно рассказал о моей исповеди!

— Ох и нервен ты, сын мой,— сказал священник.— Но роптал?

— Роптал,— охотно подтвердил я, хотя совершенно не понимал, к чему относился этот ропот, на что и когда я роптал.

По-видимому, этот не слишком большой грех был мне отпущен очень легко. Надлежало еще прийти на следующий день причаститься, то есть отведать просфору и ложку вина, которые считались телом и кровью Христа.

Только через несколько лет священник-расстрига, работавший со мной в советском отделе народного образования, разъяснил мне секрет этой злосчастной исповеди:

— Ему нужно было отпустить хоть какой-то грех, иначе исповедь признается недействительной, и он не вправе требовать за это свою мзду.

— Но почему он так настаивал на седьмой заповеди?

— Он, вероятно, знал, что мальчик из хорошей, интеллигентной, сравнительно обеспеченной семьи. Даже неудобно спрашивать, убил ли он кого-нибудь или ограбил, а другие грехи, упоминаемые в библии, уже устарели. Например, «не пожелай вола и осла ближнего своего». Где в городе волы и ослы? «Не пожелай раба ближнего». Но рабства давно не существует. А это грех возможный, может с каждым случиться.

Когда я пришел на причастие, я встретил знакомого реалиста Колю Курдюмова. Он был сыном кубанского винодела и, несмотря на молодость, хорошо разбирался в винах. Я подождал его в садике при церкви и спросил о его впечатлении.

— Сам наклюкался,— сказал он о священнике,— а добрый кагор испортил, разбавляет сырой водой.

Больше я от него ничего не добился.

СЫН КУПЕЧЕСКОГО СЫНА

Вероятно, никто, кроме историков и людей уже совсем дряхлых, не знает, какие были сословия в царской России. А принадлежать к тому или другому сословию было обязательным. Это вписывалось в паспорт и в какой-то мере определяло положение человека и отношение к нему других людей. Сословий, в общем, было немного. Конечно, господствующим сословием было потомственное дворянство, но наряду со столбовыми дворянами здесь было немало выслужившихся дворян и их потомков. Потомственное дворянство давал генеральский чин и соответствующий ему чин действительного статского советника по гражданской службе. Я уже рассказывал, что мы приветствовали директора нашей гимназии, когда он стал потомственным дворянином.

Было дворянство личное. Личными дворянами считались все офицеры и большая часть чиновников. Их дети были причислены к сословию потомственных почетных граждан. Такими потомственными гражданами были и многие интеллигенты, лица, окончившие некоторые привилегированные высшие учебные заведения. Включали в это сословие и за особые заслуги. Так, неожиданно стал потомственным почетным гражданином наш дядя Саша за технические усовершенствования на Минераловодской ветке. Он очень смеялся над этим своим новым званием.

Особое сословие составляло духовенство. Но, в отличие от Франции XVIII века (которую сейчас, пожалуй, лучше знают, чем Россию начала XX), оно не считалось у нас привилегированным сословием. Не было и единого третьего сословия. Купечество было выделено в особое сословие. Низшими податными сословиями считались мещанство и крестьянство. Рабочего сословия не было. Рабочие или ремесленники считались мещанами или крестьянами (обычно это были выходцы из деревни).

Конечно, в то время, о котором идет речь, сословная принадлежность уже в значительной мере была анахронизмом. Несколько позже в университете я знал полунищего студента, как оказалось, он был князем. Другой бедный студент острил, что он продает свое дворянство за двадцать пять рублей. В общем, осталось у него только «право на стул» (в присутственных местах потомственный дворянин не мог стоять, ему должны были подать стул). Вот он и говорил, что это единственное дворянское право, которое у него сохранилось. Оскудение дворянства много раз описывалось в художественной литературе того времени.

Знал я очень богатого человека, о котором рассказывали, что он «принципиально» оставался крестьянином, не хотел переходить в купеческое сословие, хотя и вел коммерческие дела.

Не обходилось и без курьезов. В первый студенческий год я был в Москве на одном из последних сенсационных

процессов царского суда. Некий ловкий мошенник, в прошлом просто приказчик, выдавал себя за князя Трубецкого и занимал довольно большие деньги у купчих на мнимые, фантастические предприятия. Одна из пострадавших под смех публики сказала: «Ну как можно было отказать князю, да еще красивому мужчине!» Я встречался потом с некоторыми другими мнимыми князьями и графами.

Мой отец был, как я уже говорил, инженером и директором большой паровой мельницы. Но по сословной линии он считался «купеческим сыном». Он был никак не похож на достаточно известных тогда купеческих сыновей, которые обычно работали в предприятиях своих родителей. Это была особая разновидность тогдашних молодых людей, большинство из них щеголяло в старинной русской одежде. Надо сказать, что некоторые из них умели изящно, со вкусом носить поддевки, старый русский костюм. Этих купеческих сынков обычно называли «чижиками». Популярная песенка «Чижик, пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил...» относится именно к ним, а не к маленькой певчей птичке. На Фонтанке находился популярный купеческий шантан «Буфф». Часто купеческие сынки растрачивали отцовское состояние и попадали «в клетку». Теперь подлинный смысл этой песни утрачен.

Как-то Чехов в беседе с Буниным сказал, что его крестил купеческий брат. Обычно когда читают эти слова писателя, их воспринимают как шутку. Но метрическое свидетельство великого писателя сохранилось, и там восприемником числится некий Никифор Титов, купеческий брат. Не удивляйтесь. У автора этих строк в детские годы была не менее странная сословная принадлежность. Я был сыном купеческого сына.

Над этим моим титулом немало издевался дядя Саша. Не сукин сын, говорил он, а сын сукиного сына.

Многое в тогдашней жизни может показаться сейчас очень странным, удивительным. Мой дядя по матери был популярным в нашем городе адвокатом по гражданским делам. Он хорошо зарабатывал и был значительно богаче

некоторых других родственников, которые пытались организовать собственные предприятия. Ко мне дядя относился покровительственно и обещал в будущем, когда я кончу юридический факультет университета, сделать своим помощником. Может быть, из-за этого я после долгого обсуждения с родителями поступил на юридический факультет, хотя у меня издавна была склонность к языкам и литературе.

Этот дядя знакомил бедного сына купеческого сына с основами тогдашнего гражданского законодательства. Он вел обычно наследственные дела. Они были особенно выгодны, ибо адвокат мог поставить условием получение определенного процента с выигранного наследства. А в те годы смерть почти каждого из сколько-нибудь обеспеченных людей вызывала наследственные споры. Дело в том, что утверждать завещание в нотариальном порядке не было принято. По-видимому, размер состояния был засекречен даже от нотариуса. Но каждый человек мог составить так называемое духовное завещание, подписанное двумя свидетелями. Последующее духовное завещание отменяло предыдущее. А если духовного завещания не было, то право на наследование имели все родственники, хотя бы самые дальние (кроме наследования сравнительно немногих дворянских имений, которые были внесены в особые книги). Делать своим наследником по завещанию можно было кого угодно, даже если у тебя были несовершеннолетние дети. Все это приводило к постоянным наследственным спорам, может быть странным, неожиданным. Внезапно появлялся родственник, живший очень далеко, обычно где-то за границей, который предъявлял свои права.

Мой дядя славился тем, что образцово знал сенатские решения. Они не были обязательны, но ими предлагалось руководствоваться суду. А разобраться в этих наследственных делах не так-то было легко. Всякие здесь встречались мошеннические и обходные пути, да и само законодательство было так построено, что эти обходные пути были почти неизбежны.

Очень сложной казалась мне жизнь того времени. В торгово-промышленной деятельности большое значение имел кредит. Но не странно ли? Вот, допустим, у тебя есть деньги, ты хочешь завести торговое предприятие. Но не тут-то было: ты обязательно должен включиться в сложную систему тогдашнего кредита, а это не так просто. Некоторые дельцы даже специально кутили со знаменитыми шансонетками, чтобы весь народ видел, что у них есть деньги, они кредитоспособны.

Большое место в тогдашней деловой жизни занимали векселя. Ловкие люди умудрялись проделывать с векселями всякие фокусы: закладывали их и перезакладывали много раз. В университете преподавалось даже вексельное право. Векселя были широко в ходу на самые разнообразные суммы и в любых вариантах. Мне даже казалось, что подчас они заменяют деньги.

Разобраться в тогдашней деловой жизни бедный сын купеческого сына так и не сумел. Он понял, что вряд ли сумеет быть адвокатом. Да, сложной и не всегда понятной была тогдашняя жизнь.

Скоро пришла революция, все очистила и упростила.

ВОЙНА 1914 ГОДА

Сравнительно недавняя война с Японией была войной с чуждым, непонятным народом. О японцах тогда знали очень мало. Почти никто не ездил в эту таинственную страну, первые сколько-нибудь солидные статьи о Японии появились в наших журналах только после начала войны. Мы как-то не заметили, что на восточных окраинах нашего государства выросла могучая держава. Мы этого не понимали. Недаром «япошек» угрожали закидать шапками.

Совсем другим делом была война с Германией. Она требовала коренного изменения сознания российского обывателя. Немцев у нас не очень любили, но уважали. Они считались образцом деловитости и организованности.

Те, кому удалось побывать в Германии, с удовольстви-

ем рассказывали о тамошних порядках, которые должны были быть своеобразным примером для подражания.

Но не требовалось ездить за тридевять земель. Немцев было и у нас сколько угодно. Они проникли во все поры тогдашнего русского общества, они даже не считали себя иностранцами. Многие из них были российскими подданными, испокон веков жили в нашей стране. Как это ни странно, среди немцев было немало квасных российских патриотов, черносотенцев, крайних националистов. Ведь большое количество немцев было среди правящей бюрократии и высшего военного командования. Они обычно поддерживали своих. Считалось, что немцу легче сделать карьеру, чем русскому. И с тех пор в этом смысле как будто дело мало изменилось.

В торгово-промышленных кругах, среди фабрикантов и крупных купцов, немцев тоже было сколько угодно. Их не любили, им завидовали, но считали образцом организованности и деловитости.

Было немало немцев даже среди рабочих. Правда, это обычно были рабочие особо квалифицированные, часто мастера, которые зарабатывали во много раз больше, чем окружающие русские рабочие. Им тоже завидовали и считали их «чужими».

На юге и на Волге было немало немецких деревень, которые еще с конца XVIII века почему-то назывались колониями. Это были богатые деревни, обычно для того времени благоустроенные, где сравнительно широко применялась сельскохозяйственная техника.

«На дебелые хозяйства к немцам-колонистам»,— говорил поэт Багрицкий. Да, это были зажиточные, крепкие хозяйства.

Наконец, никто об этом не говорил особенно громко, но то и дело об этом шептались по углам, что сам царь, царская семья и великие князья — чистокровные немцы. Династия бояр Романовых угасла уже в начале XVIII века. Почти все цари женились на немецких принцессах. Правда, мать Николая II была датчанкой, но мало кто знал,

что в Дании тогда правила немецкая династия. Даже в Готском альманахе, этой аристократической библии, русская династия называлась гольштинготорской. Ее основателем именовался Петр III, немецкий принц, и только в скобках стояло: «так называемые Романовы».

Люди, встречавшиеся с великими князьями, рассказывали, что они разговаривают по-русски не очень совершенно, как говорят не на родном, а на хорошо освоенном иностранном языке. Подумайте, не научились за двести лет! Я знал уже позже, в дни революции, женщину, которая служила прислугой у великого князя Михаила Александровича. С ней он разговаривал по-русски, но со своей морганатической супругой (чистокровной русской, даже из купеческой семьи) — на немецком и английском языках.

Чрезвычайно трудная задача стояла перед власть имущими, перед теми, кто господствовал в тогдашней жизни. Надо было внушить народу, что немцы злодеи и насильники, что они мучают бедных сербов и бельгийцев, что они являются главными виновниками войны. И как тут выделить российских немцев, сделать так, чтобы гнев народа и против них не обернулся?

Правда, в первые дни войны это, пожалуй, удавалось. Сравнительно благополучно прошла мобилизация при условии абсолютной трезвости, запрещении спиртных напитков, боялись, что это вызовет бунты,— их не было. Представители российских немцев даже выступали в Государственной думе, доказывали, что и они настоящие русские патриоты. А тот мнимый «патриотический подъем», который существовал в первые месяцы войны, удалось возбудить, используя зависть некоторых российских обывателей к немцам. Но в последующие дни надлежало как-то народ утихомирить.

Кое-кто из немцев пострадал, но преимущественно люди случайные, низы, те, у кого не оказалось русского паспорта. Они были высланы, арестованы. Но бюрократической верхушки, высшего командования, уважаемых промышленных кругов эти репрессии не коснулись. Были,

правда, в Москве и в некоторых других городах немецкие погромы. Считалось, что от старых погромов, почти традиционных, они отличались только тем, что теперь не грабили, только громили. Я поступил в Московский университет в начале второго года войны. Но некоторые товарищи-второкурсники мне очень красочно описывали немецкий погром. Была патриотическая манифестация, кричали: «Да здравствует Сербия! Да здравствует Франция!» И неожиданно раздались новые крики: «Бей Манделя, бей Эйнема!» Это были известные в Москве магазины популярных немецких фирм. Особенно горестно, со слезой рассказал о разгроме кондитерского магазина Эйнема полунищий студент, да еще, наверное, сладкоежка,— подумайте, такие замечательные сласти на витрине, три больших шоколадных торта, а их сапогами, понимаете — сапогами...

Погромы, правда, были быстро прекращены. Они, по-видимому, могли вызвать нежелательные последствия.

Меня война застала в месте как будто бы тихом и спокойном, на кавказском курорте в Кисловодске. О начале войны я узнал в кисловодском парке. Как будто бы тогдашние курортники были народ солидный, зажиточный, в какой-то мере культурный. Но и там было ненужное возбуждение. Военный оркестр играл союзные гимны, а толпа тем временем старалась обнаружить шпионов, напала на двух совершенно невинных людей. Их с трудом спасли от самосуда какие-то офицеры и отвели в участок. Оказалось, что они ни в чем не виноваты.

Все были уверены, что война будет недолгой, кончится к рождеству (объявлена она была в конце июля). Раз-два — и мы возьмем Берлин. Особенно усилилась уверенность в близкой победе после вступления в войну Англии. Очень уж верил российский обыватель того времени в ее могущество. Я был крайне удивлен, когда образованный гвардейский офицер, недавно игравший со мной в теннис, прощаясь (он ехал на фронт), сказал, что все эти крики о взятии Берлина только вздор и плод невежества.

— Германия очень сильна в военном отношении,— ска-

зал он. Война будет долгой и упорной, продлится несколько лет. Можно ждать, вероятно, занятия немецкими войсками значительной части нашей территории.

Потом я встретил подобную беседу в первой части романа А. Толстого «Хождение по мукам». Образованный военный, конечно, куда лучше, чем обыватели, знал подлинное положение дел.

Как-то в кисловодском парке разбирался вопрос, кто же будет командовать нашей «победоносной» армией. Популярных генералов, увы, в те дни не было. Не было Суворова и Кутузова, даже Скобелева. Неожиданно кто-то назвал Ренненкампфа, бравого генерала, больше известного победами над родным народом в 1905 году. Это, впрочем, тогда мало кто знал. Вызвала протесты только его немецкая фамилия.

Скоро я уехал домой в гимназию заканчивать выпускной восьмой класс. Жизнь в городе изменилась пока мало. Даже цены на товары почти не поднялись.

В гимназии был устроен лазарет. Классам пришлось несколько потесниться. К чести нашей либеральной гимназии следует сказать, что мы почти не слышали здесь лжепатриотических, националистических выкриков. Мы ухаживали за первыми прибывшими ранеными, устраивали в пользу раненых различные сборы.

Мы бегали на вокзал встречать раненых и первых пленных австрийцев. Большинство из пленных были славянами — чехи, словаки, поляки, русины (так называли тогда австрийских украинцев). По-видимому, их содержали не слишком строго, даже разрешали гулять по городу.

Большое впечатление на жителей нашего южного города произвело объявление войны Турции и бомбардировка немецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау» наших черноморских портов. Война с Турцией вызвала новые припадки квасного патриотизма. Мы должны овладеть проливами и водрузить крест на Святой Софии, обязательно, без этого нельзя жить! Особенно много писали об этом кресте.

А ведь недавно спокойно торговали с турками и о проливах никто не думал. И тем более о Святой Софии, которая много сотен лет назад стала мусульманским храмом. И вот, оказывается, без проливов и без креста на верхушке Софии мы никак жить не можем.

В нашем городе, как и в других южных городах, турок было немало. Особым успехом пользовались турецкие булочные, большинство турок были мелкими ремесленниками. К ним относились спокойно, доброжелательно, не то что к немцам. За некоторых из них теперь хлопотали, и в конце концов их оставили на местах и разрешили заниматься своим делом, только, кажется, они должны были временами регистрироваться в полиции.

Студенты и гимназисты старших классов получали отсрочки по призыву. Но убыль офицерского состава была особенно значительна, и стали уже поговаривать о будущем призыве учащихся. Офицерский состав демократизировался. Прапорщиками становились люди, окончившие два-три класса или начальное училище.

Война шла с переменным успехом. После поражения на Мазурских озерах и самоубийства Самсонова никто уже не говорил о занятии Берлина. Теперь много писали о червонной Руси, нужно было как-то поддерживать патриотические чувства. В честь взятия галицийской крепости Перемышль состоялась большая демонстрация, в которой приняли участие учащиеся всех школ города. Я почему-то запомнил, как кричал с балкона директор частного реального училища Попков, известный в городе своим черносотенством и не слишком честной игрой в карты. «Да здравствует, — кричал он, — святая матушка-Русь, и да будет она первым царством в поднебесье!»

Было время тяжелое, весна 1915 года. В русской армии не хватало орудий, снарядов, пушек, началось большое отступление. О победе уже никто не говорил. Я вспомнил кисловодского офицера, слова, которые он тогда передавал по секрету. Теперь об этом знали все. Война будет долгой и упорной.

ПЛЫВУТ ФУРАЖКИ

По реке плыли гимназические фуражки, а у берега стояли их владельцы, только что получившие «аттестат зрелости». Они были восторженно настроены, немного пьяны. Они кричали «ура». Это был установленный ритуал.

Директор и учителя здоровались теперь с нами за руку. Расспрашивали о наших планах. Мы — будущие студенты.

Расправившись с бедными фуражками, надлежало теперь посетить кафешантан. Это тоже был обычай. В глазах некоторых кафешантан — это был очаг разврата. Для других — источник наслаждения. Когда я шел первый раз в кафешантан, я ждал чего-то необычайного, почти таинственного... и был разочарован. Этот шантан «Марс» («парад мировых этуалей», как гласила афиша) оказался просто рестораном, грязным и обтрепанным, а «этуали» — не очень молодыми, намазанными и декольтированными дамами, песенки их были глупые и противные.

И в семье, и в гимназии старались воспитать мой эстетический вкус. Читал я тоже немало, видел порой и в Москве, и в нашем городе интересные спектакли. И теперь я был разочарован, почти оскорблен в своих лучших чувствах.

Я поступал на юридический факультет Московского университета. Одно время я думал на филологический, но после бесед с родителями решил на юридический. Там, мол, образование более всестороннее.

«В Москву, в Москву...»

Мы тогда острили, что едем следом за чеховскими Тремя Сестрами. В Москве я бывал, но бывал жалким гимназистом, теперь буду студентом — это совсем другое дело.

Петербург, ставший уже Петроградом, тогда казался хмурым, холодным, чиновничьим, он меня не привлекал.

Так кончилось мое детство и юность ранняя.

Начинались бурные студенческие годы.

«Быстры, как волны, вы, дни нашей жизни» — многое потонет в этих волнах...

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ БЕРЕЗАРК

ШТРИХИ И ВСТРЕЧИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1982, 264 стр. План выпуска 1982 г. № 11. Редактор К. М. Успенская. Худож. редактор А. С. Орлов. Техн. редактор Г. В. Белькова. Корректор Ф. Н. Аврунина. ИБ № 3196. Сдано в набор 25.02.82. Подписано к печати 25.10.82. М 33774. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,55. Уч.-изд. л. 12,41. Тираж 30 000 экз. Заказ № 187. Цена 1 руб. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.